

Колодец пророков

Автор:

Юрий Козлов

Колодец пророков

Юрий Вильямович Козлов

Миссия выполнима

Роман «Колодец пророков» – это захватывающий триллер – история убийства гадалки на картах Руби, – и актуальный политический роман, драма, загадка и мистика России, ее священная тайна, всевластие и театр спецслужб.

Один из лучших триллеров на тему пришествия Антихриста, написанный признанным мастером «интеллектуального романа», известным российским писателем, главным редактором журнала «Роман-газета» Юрием Вильямовичем Козловым.

Юрий Козлов

Колодец пророков

Глава А

Проходя по Арбату, Илларионов всякий раз обращал внимание на гадалку, в погожее время прогуливающуюся короткими ломаными линиями, а иногда удлинёнными овалами и эллипсами вокруг столика с простыми игральными картами, картами Таро и весьма редкими в мире, не говоря о России конца XX века, древнеегипетскими картами Руби, так называемыми картами мертвых. Во

время дождя или сильного ветра гадалка перемещалась со столиком под темную плесневеющую колоннаду Театра имени Вахтангова. Однажды Илларионов помог ей в этом нехитром деле и, помнится, изумился, сколь невесом (как из пуха) старинный столик с разноцветным инструментарием по прочтению будущего и судеб отдельных людей, стран, обществ и народов.

Покидая плесневеющую колоннаду, ступая под дождь, он оглянулся. Глаза гадалки светились в дневных сумерках. На этот свет, как ночные бабочки на огонь, летели древние египтяне, стремящиеся узнать то, что узнавать не следовало. Ибо, как гласила одна из заповедей ослоголового (иногда, впрочем, он изображался в виде огромного грызуна, похожего одновременно на крысу, барсука и сурка) египетского бога Сета, излишнее знание отнимает у жизни смысл. Илларионов припомнил, что в иные моменты бесконечной и непознаваемой, как свет то ли живой, то ли погасшей, но присутствующей на небосклоне звезды, истории Египта гадание на картах мертвых было строжайше запрещено. Осмелившихся нарушить запрет гадалок ослепляли, дабы погасить (а в редких случаях, выражаясь компьютерным языком, сканировать) в их глазах неуместный свет (информацию), выхватывающий из темной реки времени отдельные фрагменты будущего. Если же предсказанную судьбу или будущее требовалось изменить или направить по другому руслу, гадалку попросту закалывали специальным ритуальным ножом – узким и длинным, как спица.

Карты Руби – карты мертвых – просачивались сквозь века, запреты и границы, как просачивается сквозь века, запреты и границы все истинное, равно как и ложное, связанное с природой человека (а может, природой сил, управляющих тем, что принято называть жизнью), вернее, с изначальным несовершенством (а может, недоступным пониманию человека совершенством) этой самой природы.

Илларионов был уверен, что подавляющее большинство идущих по Арбату людей понятия не имеет, что такое карты Руби. Он был несильно сведущ в вопросах гадания на картах, но все же в свое время познакомился с малодоступным читающей публике неканоническим (то есть не вошедшим в Библию) текстом, где утверждалось, что Бог изгнал Адама и Еву из рая не за то, что они отведали плодов с древа познания, а за то, что Ева предсказала Адаму судьбу человечества с помощью карт Руби. В свое время хасиды в круглых шляпах, с разделенными на пробор бородами, мусульманские боевики-фундаменталисты, выдававшие себя за ученых мулл, баптисты в смокингах, старообрядцы в глухих суконных сюртуках под разными предлогами штурмовали Государственную библиотеку не столько из-за этого (он,

естественно, хранился в другом месте, в электронном с семью паролями сейфе) текста, сколько из-за других, где были на него ссылки. Таким образом (если верить неканоническому тексту) даже сам Господь Бог (ГБ, как несколько фамильярно называли его в отдельных учреждениях в России на исходе XX века) ничего не сумел поделаться с картами Руби.

Они разрушили рай.

В последние годы Илларионов перестал доверять путеводному чувству «что-то здесь не так», прежде недвусмысленному и безошибочному, как градусник. Когда рушатся цивилизации, «что-то здесь не так» превращается из отклонения в норму, легко и естественно входит в новую (поначалу почти всегда отравленную или по недоразумению кажущуюся таковой) формулу воздуха. Уволенный по сокращению штатов в результате очередной (четырнадцатой по счету) реорганизации своего прежнего места работы (отныне контора называлась Департамент федеральной безопасности – ДФБ), Илларионов вместе с народом дышал отравленным (или в силу непонимания, природной враждебности к новому кажущимся таковым) воздухом «все не так», вместе с народом же видоизменяясь, приспособливаясь, как некогда видоизменялись, приспособливаясь к сухой воздушной среде обитания, оставшиеся без океана кистеперые рыбы.

Поэтому и гадалка с древнейшими, редчайшими в мире, не говоря о России конца XX века, картами Руби на шумном Арбате, под плесневеющей колоннадой Театра имени Вахтангова уже не казалась ему чем-то из ряда вон.

Ведь не удивился же Илларионов, когда год назад прямо здесь, на Арбате, купил у стынувшего в доисторических резиновых ботах на морозе бомжа рисунок Рембрандта за сто долларов. «Что это там у тебя, любезный?» – остановился заинтригованный натуральным (старинным) видом выглядывающей из-под черного пальто бомжа бумаги Илларионов. «Рембрандт, «Одноглазый ангел», подлинник», – честно (но это выяснилось позже) ответил бомж. «Сколько?» – поинтересовался Илларионов, пытаясь мысленно вообразить печальные обстоятельства, в результате которых несчастный ангел лишился левого глаза. Бомж запросил тысячу, но отдал за сотню. «Почему он одноглазый?» – скорее для очистки совести, нежели в надежде получить квалифицированный ответ спросил Илларионов. «Может, налетел на сук в темноте? – предположил бомж. – Или какая злая баба выцарапала?» – «Купи себе валенки», – посоветовал Илларионов. «Кому подлинник Рембрандта за сотню, – философски заметил

бомж, – кому валенки за пятьдесят». – «Неужели за пятьдесят?» – Илларионов удивился цене валенок даже больше, чем злой бабе, предположительно выцарапавшей ангелу глаз. «Ну да, пятьдесят на Тишинском рынке, – подтвердил бомж. – Одноглазые ангелы там не вдут, а валенки на святой Руси уже не катают».

Не удивлялся Илларионов и своим нынешним месту работы, должности и окладу: Государственная библиотека, начальник отдела неустановленных рукописей, половина стоимости валенок. Ровно на один валенок в месяц (что было смехотворно мало) или четверть одноглазого ангела Рембрандта (что было фантастически много) зарабатывал Илларионов, руководя несуществующим отделом в почти что уже и не существующей, полуразворванной, полузатопленной коммунальными водами, атакуемой скверной живностью библиотеке.

Не удивлялся он и мнимой неожиданности основного своего кормления. Как специалист по неустановленным рукописям Илларионов участвовал в грандиозном проекте американских мормонов по созданию электронной версии Библии для Всемирной информационной сети Интернет. Илларионов занимался преобразованием Библии (точнее, избранных ее фрагментов, ибо «поднять» всю Библию было так же трудно, как некоему Ксанфу в одиночку выпить море) в компьютерный гиперроман, то есть в роман с бесчисленным внутренним разветвлением файлов (совершенно самостоятельных сюжетов). Грубо говоря, приступив к чтению на экране компьютера библейского текста и, допустим, заинтересовавшись случайным именем ЭЛИБАН, потенциальный читатель (пользователь) мог свернуть с обустроенной, размеченной многорядной автострады основного текста на кривую, каменистую, в колючих кустах и кипарисах тропинку ЭЛИБАН. На сумеречной этой тропинке (отчего-то большинство преступлений в Библии совершалось именно в сумерках) можно было разглядеть притаившегося за валунами в ожидании путника (им не посчастливилось оказаться шестнадцатилетнему пастуху небольшого стада ослов САВЛУ, будущему ПАВЛУ) разбойника ЭЛИБАНА. Почти невидимую тропинку ЭЛИБАН пересекала едва угадываемая по колыханию сухой травы НИМЕР. Так звали нелегально прибывшего в Иудею атлета-эфиопа, с которым летним вечером на берегу Мертвого моря упомянутые ЭЛИБАН и САВЛ провернули сомнительную торговую операцию. С НИМЕРА грех было не спуститься по каменистому склону на АСФАРЬ. Потакая прихоти этой юной красавицы из СТРАНЫ СНОВ, НИМЕР заколол длинным мясным ножом богатого римлянина МАРКА ДОМИЦИЯ, за что впоследствии был отдан на растерзание львам.

Если что и удивило Илларионова, так это то, что благодаря удачному стечению обстоятельств, а также необъяснимому почтению, испытываемому мормонами и чиновниками из штаб-квартиры Интернета в Риме к нормам авторского права, именно он официально считался отцом идеи проекта преобразования Библии в гиперроман для Интернета, так сказать, держателем золотого ноу-хау. Выступая на международном симпозиуме, посвященном вопросам межбиблиотечного обмена информацией по электронным системам связи, Илларионов ни с того ни с сего ляпнул, что, по его мнению, именно Библия должна была быть главным гиперроманом в Интернете. Между тем там среди всевозможного полупорнографического мусора болтался один-единственный относительно законченный, весьма, по мнению Илларионова, посредственный гиперроман неведомого автора под мало что сообщающим читателю названием «Феликс».

Финансирующие проект мормоны платили Илларионову неплохие – на жизнь хватало – деньги, но едва ли не больше, чем электронная версия Библии, их интересовал придуманный Илларионовым отдел неустановленных рукописей Государственной библиотеки (ГБ), а также – как и хасидов, боевых мулл, баптистов, старообрядцев и прочих неравнодушных к истории человечества людей – одно роковое имя, которое пока отсутствовало в бурно разрастающемся, как рога на голове мужа неверной жены, разветвляющемся новыми, новейшими, сверхновыми и сверхновейшими файлами электронном библейском лесу.

«Интересно, сколько она берет за сеанс?» – подумал про гадалку Илларионов, сворачивая с Арбата через короткий Денежный переулок на суставчатый Сивцев Вражек, в глубине которого он и жил в большом старом, обросшем позднейшими пристройками, как тело лишними конечностями, доме. Дом то собирались сносить, то оставляли в покое. Коммерсанты, банкиры, московское правительство, муниципальный округ «Старая Москва» периодически подступали к дому, обещая не только удачно расселить жильцов в Митино-4 и Расторгуево-2, но и подарить каждой семье по подержанной иномарке. Однако что-то в последний момент срывалось. Илларионов полагал, что до тех пор, пока дом не отдадут, помнят и о нем – рабе Божьем, новоявленном начальнике отдела неустановленных рукописей ГБ. Так сказать, держат в резерве главного командования. Отпустят дом – значит и ему надеяться (в смысле продолжения службы) более не на что. Можно смело переходить к частной жизни. Иногда, впрочем, Илларионову казалось, что он переоценивает (для государства и вообще) значение собственной личности.

Он давно бы воспользовался услугами профессиональной гадалки, если бы всю жизнь – точнее, большую часть из прожитых сорока двух лет – не пребывал в плену странного предрассудка, что нельзя испытывать судьбу гаданием. Илларионову казалось, что обратиться к гадалке – все равно что пойти к проститутке. Пусть в этом, в общем-то, нет ничего страшного, за исключением очевидного отступления от добродетели и нарушения определенного равновесия личности. В том случае, естественно, если ранее нарушенное равновесие в человеке не успело, подобно свинцу, отлиться и застыть как норма. Тогда рассуждения Илларионова теряли смысл. Хождение к проститутке выглядело даже предпочтительнее, поскольку тут (теоретически) нарушалось (если нарушалось) равновесие лишь двух отдельно взятых личностей – Илларионова (привыкшего ко всевозможным нарушениям) и проститутки (надо думать, давно нарушенное). В случае же с гаданием как бы ставился под сомнение самый промысел Божий, наносилось оскорбление ангелу-хранителю, если таковой, конечно, существовал, в чем Илларионов сильно сомневался. Предсказание – не важно, имевшее шансы сбыться или нет – пробуждало к участию в судьбе другие (вечные и слепые) силы, перед которыми Илларионов испытывал священные страх и трепет. Он бы предпочел погибнуть в неведении, нежели продолжить (после предсказания) жить в ущерб кому-то. Ибо, как известно, за избегнувших (в результате предсказания) судьбы неизменно расплачиваются страданиями другие. Судьба – стрелок, допускающий изредка рикошет, но никогда – чистый промах.

Поднимаясь пешком на свой пятый этаж – он, как правило, не знал заранее, пойдет пешком или поедет на лифте, принимал решение в последнее мгновение, – Илларионов продолжал думать о картах мертвых – картах Руби.

Помимо обычных (ритуальных) сведений – дня, месяца, года рождения – гадалке следовало сообщить о себе и несколько неожиданных, сугубо, так сказать, сокровенных вещей, а именно: приходилось ли тебе убивать самому или принимать участие в убийстве человека (людей); желал ли ты когда-нибудь зла близкому человеку (любимой женщине); что ты ценишь в этой жизни превыше самой жизни? Отнюдь не каждому хотелось честно отвечать на такие вопросы, глядя в светящиеся глаза гадалки, поэтому гадание зачастую осуществлялось через посредников: некто приносил записанные на бумаге (или устно сообщал гадалке) испрошенные сведения, гадалка давала письменный (или устный) ответ. Таким образом, визуальный (посредством наблюдения) контакт с клиентом: дрожание рук, учащенный пульс, расширенные зрачки, следы побоев или садистских ласк – одним словом, все те очевидности, на сопоставлении и первичном анализе которых во все века работали простые гадалки – в случае с

картами мертвых – картами Руби – был необязателен. Гадание по этим картам считалось абсолютно безошибочным, ибо весточки о будущем (если верить оккультным древнеегипетским и неканоническим библейским текстам) передавались живым гадалкам Руби от гадалок уже умерших, которые (если опять-таки верить этим сомнительным источникам) являлись одним из связующих звеньев между двумя вечными мирами, ибо, как известно, ничто и никогда не может исчезнуть бесследно. В мире мертвых (как свидетельствовали тексты) понятие лжи отсутствовало по определению. Ложь не вписывалась в энергетику мира мертвых, поэтому оттуда приходила химически чистая, голая (как человек в момент рождения) правда – весьма тревожный, а зачастую смертельный для гадалок и их клиентов продукт.

На четвертом этаже за два лестничных пролета до своей площадки Илларионов как бы замер на бегу. Пронизывающий пыльный подъезд, как спица моток шерсти, столб смешанного – электрического от ламп на площадках и естественного из окон на лестнице – света был ясен, незамутнен лишними тенями. Илларионов открыл двумя ключами обшарпанную, шатающуюся, как пародонтозный зуб, первую дверь своей квартиры. С этой дверью справился бы и ребенок (естественно, ребенок с плохими наклонностями). Илларионов подал на себя слабо пискнувшую под ключом вторую – тяжелую, железную, обитую бронированным, под дерево, пластиком – дверь. Эту дверь (во всяком случае, быстро и незаметно) не сумели бы открыть ни парни с гранатометами, ни самый опытный медвежатник.

Еще был жив отец, когда он ставил эту дверь. Илларионов, помнится, навестил его в больнице. Отец объяснил, как отыскать мастера. «Кроме него, тебя и... меня, если не умру, – сказал отец, – никто не откроет». – «Вряд ли, – усомнился Илларионов-младший, – сейчас есть очень хорошие специалисты. К тому же и безработные. Им терять нечего». – «Кто хорошо разбирается в электронике, – улыбнулся отец, – как правило, не так хорошо разбирается в механических замках. Кто умеет вскрывать механические замки, редко соображает в электронике. Это разные вещи для разных людей. Тут нужен штучный человечек». И мастер – застенчивый, похожий на инока, с редкой светлой бороденкой и длинными пальцами пианиста юноша с явно не ему принадлежащим именем Эрик – оказался именно таким штучным человечком. С другими Илларионов-старший без крайней на то необходимости предпочитал дел не иметь.

Он пролежал в больнице несколько лет. Иногда Илларионову-младшему казалось, что отец совершенно здоров и лежит в ЦКБ, потому что ему так удобно: отдельная палата, кормят-поят за государственный счет, каждое утро – свежие газеты, доставляют просимые книги, пускают сына, а главное, вокруг чистоенько, тихо, никто (кроме лечащего врача) не стоит над душой. «Не надоело тут? – однажды спросил Илларионов-младший. – Перебрался бы на дачу, что ли?» – «Да ты что? – едва слышно, одними губами ответил Илларионов-старший. – Только тут я и живой». – «Но ведь в полной их... власти, – тоже одними губами возразил Илларионов-младший, – в любой же момент...» – «Потому и живой, – неожиданно громко засмеялся отец, – что в любой момент. Соскочившему на ходу с поезда нельзя в лес. Можно только или разбиться насмерть, или стоять столбом у насыпи».

В ту – одну из последних – их встреч Илларионов-младший с сердечной болью отметил, что отец истаивает, догорает, как церковная свечка. Его лицо было таким белым, что сливалось с подушкой, и только светились странным светом зеленые глаза, которые, в отличие от лица, напротив, только набирали яркость. «Тебя тут, случаем, не поторапливают?» – незаметно вывел ручкой Илларионов-младший на белой кайме газеты. «Нет, я сам опаздываю», – ответил отец.

Илларионов-младший, впрочем, до сих пор не был в этом стопроцентно уверен. Кажется, дня за два до смерти отца начальник двенадцатого управления генерал Толстой, курировавший в числе прочих возглавляемый Илларионовым-младшим отдел, взял его в лифте на Лубянке за пуговицу пиджака. «Слышал, сынок, строгую дверь поставил на новой квартире?» – весело (как если бы это было самое радостное известие за этот день) подмигнул генерал Толстой. «К новой квартире, товарищ генерал, – растерялся Илларионов-младший, – и дверка новая». Он не ожидал, что новую дверку так скоро проверят на впускаемость. «Вот и я о такой, сынок, чтобы дом рухнул, а она как новенькая, давно мечтаю, – сокрушенно вздохнул (мол, мечтаю, да вот никак не поставлю) генерал Толстой. – Телефончик мастера не подскажешь?» – «Не подскажу, – с искренним сожалением развел руками Илларионов, – не оставил он своего телефончика».

Генерал Толстой был плотен, кругл, лыс, добродушен на вид, как говорящий колобок из сказки. И как колобок же с невероятной легкостью уворачивался от всех желающих его съесть. «Батя нашел», – констатировал он. Если можно было вообразить себе колобок из снега и льда, то сейчас генерал Толстой напоминал именно такого арктического колобка. Уворачиваясь от желающих его съесть, он сам не зевал – съедал (морозил?), кого хотел. «Будешь у него в больнице,

передавай привет, – сказал, выходя из лифта, генерал Толстой. – Обязательно съезжу к нему на следующей неделе».

Илларионов-младший не знал, съездил он или нет, потому что на следующей неделе отец умер.

Отца хоронили стылым утром поздней осенью на подмосковном Лесном кладбище с приличествующими его воинскому званию почестями. От земли поднимался густой белый, как сметана, туман. В нем без остатка растворились черные лимузины, вишневый полированный гроб, рыдающая медь оркестра, красные носы одинаковых на всех похоронах музыкантов, седые и лысые непокрытые головы, спешившиеся генеральские каракулевые папахи, пыжиковые, песцовые, шерстяные и прочие шапки и кепи провожающих в штатском. Только прозрачно застекленные льдом ветви деревьев выглядывали из белого тумана, как кончики-узелки тех самых нитей, потянув за которые можно распутать клубки тайн.

Илларионов подумал, что вместе с отцом в белый туман, в обледеневшие ветви деревьев, в черную промерзшую землю и еще бог знает куда ушло немало тайн. И среди них та, которая чем дальше, тем сильнее занимала Илларионова-младшего. Почему отец так спокойно, если не сказать – равнодушно, относился к событиям, сотрясающим Россию с конца восьмидесятых и по сию пору, к разрушению всего того, чему он и Илларионов-младший (не считая многих других достойных людей) служили верой и правдой столько лет?

«Ладно, – помнится, сказал он отцу, – хрен с ними: с социализмом, ленинским Политбюро, ЦК КПСС, общественной собственностью на средства производства, моральным кодексом строителя коммунизма, единым политднем, Рабкрином, ленинским университетом миллионов и университетом марксизма-ленинизма. Но при чем здесь российское государство?»

Дело было зимой, на служебной даче в Ромоданове. В большой деревянной, застланной пушистым, как в американских отелях, паласом комнате горел камин. За окном – насколько хватало взгляда – по пояс в снегу стоял вековой лес. В ледяном воздухе была разлита такая крепость, что российское государство казалось вечным и неприступным, как лес в снегу. Илларионов-младший, помнится, подумал, что и карачун государству, как ни странно, пришел из такого же векового зимнего леса, только на другом конце государства. Впрочем, на исходе XX века, после очередной денежной реформы,

в канун очередных президентских выборов в России едва ли кто вспоминал об этом.

– Тебя удивляет, что государство, вернее, то, что от него осталось, как раньше, так и сейчас разрушают те, кто по долгу службы должен, обязан его оберегать и укреплять? – полуспросил-полуответил Илларионов-старший.

Илларионов-младший промолчал, настолько это было очевидно. Если собрать все написанное и опубликованное на эту тему в России, получились бы тома. Илларионову-младшему было известно, что умолчание – не самый верный способ сокрытия истины. Куда более верный – погружение истины в океан слов. В океане слов истина отчего-то вела себя, как топор.

– Тебе не кажется странным, – между тем продолжил отец, – что государство, призванное в идеале защищать и организовывать жизнь граждан, вдруг оказалось совершенно не нужным подавляющему большинству этих самых граждан? Иначе разве решились бы одни с такой охотой и радостью его разрушать, а другие – им не мешать? Не кажется странным, что те, у кого в руках сосредоточена вся мощь разрушаемого государства, ничего не предпринимают во спасение не только государства, но даже собственной жизни, потому что их, к сожалению, без достаточных на то оснований считают олицетворением ненавистного государства? Чтобы выбрать правильно оружие, надо представлять своего противника. Что за сила противостоит государству?

– Мне все это кажется очень странным, – согласился Илларионов-младший, – но только что из этого следует?

– Из этого следует лишь то, – серьезно ответил отец, – что дело не в тех, кто разрушает государство, и не в тех, кто будто бы хочет, но будто бы не может его защитить.

– Хорошо. В чем тогда дело?

– В чем? – вдруг рассмеялся отец. – Ты разговариваешь со мной, как поколебленный в вере протестант с пастором, ставишь вопрос ребром. Я не могу ответить на твой вопрос.

– Почему? – уточнил Илларионов-младший.

- Потому что у ответа нет ребра, - ответил Илларионов-старший.

- Тогда я отвечу, - сказал Илларионов-младший. - Ребро в том, что меня скоро выпрут со службы, я останусь без квартиры, без средств, без...

- О деньгах не беспокойся, - перебил отец. - Пословица - не в деньгах счастье - на все времена. Деньги, как и несчастья, тебя сами найдут.

- Что-то пока плохо ищут, - усомнился Илларионов-младший.

- Так ведь еще и со службы не выперли, - возразил Илларионов-старший.

«Как же я забыл, - спохватился Илларионов, распахивая вторую дверь, вглядываясь в длиннейший, теряющийся в ранних осенних сумерках коридор своей квартиры, - сегодня же ровно год как умер отец!»

Огромный трехкамерный холодильник Илларионова был пуст, как только может быть пуст холодильник одинокого, проводящего дни (а иногда и ночи) на работе мужчины. Тем не менее среди гремящих прозрачных и белых пластиковых полок отыскались недопитая бутылка водки, выгнувшийся, напоминающий ноготь великана, кусок сыра. Из забитого пустыми полиэтиленовыми пакетами шкафчика, как лягушка, прямо в руки Илларионову прыгнула запечатанная пачка крекеров. Почему-то он не выбрасывал пустые пакеты, ловя момент, когда возьмет их с собой в магазин и положит в них продукты. Но каждый раз, когда Илларионов оказывался в магазине, пакеты при нем фатально отсутствовали и он приносил продукты в новых.

Он уже предвкушал, как помянет отца - выпьет водки, закусит крекером со странным названием «Рыбки с луком», надменно пренебрежет при этом ногтем-сыром, - но тут в глубине коридора зазвонил, вернее, заиграл марш «По долинам и по взгорьям» телефон. Это означало, что кто-то звонит Илларионову в его полувымышленный, но отчасти и существующий отдел неустановленных рукописей Государственной библиотеки. В разворываемой, заливаемой коммунальными водами, атакуемой мышами, крысами и невиданными - клыкастыми, с осьминожьими щупальцами - тараканами-амфибиями ГБ у него, естественно, не было ни своего кабинета, ни телефонного номера, поэтому звонки по несуществующему, но присутствующему в справочнике библиотеки

номеру либо уходили в никуда (в астрал?), либо – в одном случае из трех, так определил Илларионов – автоматическое реле перебрасывало их ему на домашний номер. Если же кто-то звонил непосредственно по домашнему номеру, телефон играл «Не слышны в саду даже шорохи». Был у Илларионова, естественно, и мобильный телефон, но, после того как его уволили со службы, номер, похоже, как пчелу из улья, изгнали из дружной сотовой семьи. Надо было покупать новый чип.

Илларионов подумал, что двухномерной со специальным (на экране высвечивался и адрес абонента) определителем телефон – последняя его привилегия, которой, вполне вероятно, его тоже скоро лишат.

Ему не было нужды смотреть на определитель, потому что он знал, кто звонит. С самого утра на пристегнутом к брючному ремню пейджеру Илларионова периодически возникали черные, как муравьи, буковки: «Господин Джонсон-Джонсон срочно просит Вас связаться с ним в любое удобное для Вас время».

...Глава представительства (миссии) мормонов в России господин Джонсон-Джонсон был высоким – под два метра – спортивного вида блондином, носящим волосы на прямой пробор. Его лицо было настолько правильным и пропорциональным, что когда Илларионов – профессионал! – пытался воспроизвести его в памяти, то сначала перед мысленным его взором чередой проходили физиономии известных американских киноартистов: Харрисона Форда, Ричарда Гира, Рута Хайгера – и только потом, потершись между ними, позаимствовав у кого нос, у кого лоб, у кого глаза, с трудом вылепливалось ухоженное, холодное и жесткое, как у честного, готового упечь в тюрюгу собственную старушку-мать судьи, лицо господина Джонсона-Джонсона.

Илларионов даже не стал наводить по старым связям справок, тревожить компьютерные вместилища засекреченной информации о зарубежной агентуре (или как нынче было принято говорить, зарубежных коллегам), настолько очевидно было, что господин Джонсон-Джонсон никакой не честный судья.

Глава миссии мормонов в России занимал великолепно отреставрированный двухэтажный особняк на набережной Москвы-реки неподалеку от английского посольства.

Оказавшись впервые в просторном овальном – как у президента США в Белом доме – кабинете господина Джонсона-Джонсона под самой крышей особняка, Илларионов обратил внимание на не поддающееся объяснению количество небольших разноцветных прямоугольных ковриков, уложенных поверх не покрытого лаком, не натертого мастикой, но выскобленного и отмытого до белой желтизны пергаментного листа паркета. В кабинете не было ни пылинки. Прозрачны, как будто их вовсе не было, а был один лишь воздух в белых пластиковых переплетах, были и смотрящие на Москву-реку высокие окна. На опять-таки не покрытом лаком – струганом – письменном столе господина Джонсона-Джонсона лежала единственная книга, Библия, и стояла единственная вещь – последней модели, соединенный с закрытыми спутниковыми системами информации компьютер.

Илларионов, превыше всего в жизни ценивший чистоту и отсутствие пыли, наводивший чистоту и уничтожавший пыль везде, где удавалось (без того, чтобы выглядеть в глазах окружающих маньяком), почувствовал симпатию к отлично говорящему по-русски, спортивному, несмотря на преклонный возраст, американцу в алом пуловере поверх голубой рубашки. Вполне вероятно, он действительно был мормоном, но при этом, совершенно очевидно, имел воинское звание никак не меньше полковника.

Впрочем, первую их встречу несколько месяцев назад едва ли можно было назвать продолжительной.

– Господин Терентьев? – легко поднялся из-за стола навстречу Илларионову мормон.

Илларионов выправил себе паспорт на эту неизвестно почему (если фамилия Илларионов наводила на мысли о законе и благодати, то Терентьев, видимо, на их победительное, демонстративное отсутствие) пришедшую ему в голову фамилию сразу после внезапного, но ожидаемого увольнения со службы. Последнее по времени массовое увольнение на Лубянке, горько усмехаясь, называли «сокращением Штатов». Если, как говорили злые языки, список подлежащих увольнению был и впрямь согласован с Лэнгли, то, вполне может стать, в решении участи Илларионова самое непосредственное участие принимал энергичный, неопределенного возраста – от пятидесяти двух до семидесяти восьми – полковник-мормон Джонсон-Джонсон.

Илларионову увиделось в фамилии Терентьев напряжение предельно натянутой струны, слышалась ее звенящая крепость.

– Я правильно назвал вашу фамилию... Терентьев? – легонько попробовал струну на эту самую звенящую крепость мормон.

– Абсолютно правильно, – подтвердил Илларионов, размышляя, зачем на полу столько разноцветных ковриков.

– Андрей... простите, не знаю вашего отчества, – с улыбкой развел руками мормон.

– Терентьевич, – подсказал Илларионов, – моего отца звали Терентием. Такое, знаете ли, дурацкое совпадение.

– Я познакомился, Андрей Терентьевич, с вашей статьей «Библия как гиперроман», опубликованной в...

– В «Вестнике Государственной библиотеки», – напомнил Илларионов, – мы, научные сотрудники, называем его просто «Вестником ГБ».

– Да-да, в «Вестнике Государственной библиотеки», или как вы, научные сотрудники, называете его, просто «Вестнике ГБ», – кивнул головой мормон. – Прежде чем приступить к деловой части нашей беседы, позвольте, Андрей Терентьевич, задать вам несколько вопросов, так сказать, личного свойства. Хотя и говорят, что деньги правят миром, но сейчас мы с вами находимся, – Джонсон-Джонсон обвел рукой кабинет, – на территории, управляемой не столько деньгами, хотя я никоим образом не собираюсь умалять их значение в грешном мире, сколько заповедями Господа нашего Иисуса Христа.

При желании его жест можно было истолковать как более широкий, то есть включающий в управляемую заповедями Господа нашего Иисуса Христа территорию и реку за окном, и, следовательно, город Москву, а там, глядишь, и всю, настезь, как окно в бурю, открывшуюся сердцем учению мормонов (как, впрочем, и любым другим, включая поклонников бога древних ацтеков Кецалькоатля, учениям) Россию. На исходе XX века Россия представляла из себя поле, на котором прорастали все без исключения упавшие на него зерна и плевелы. Илларионову было известно, что в секретной своей переписке мормоны

называли его страну «делянкой Господа», видимо, полагая, что, всласть понаблюдав за хаотичным – без руля и ветрил – ростом злаков и плевел, селекционер-Господь твердой рукой вырвет лишние, оставив наливаясь и крепнуть одни колосья мормонов.

– Верите ли вы в Бога, Андрей Терентьевич? – поинтересовался глава миссии мормонов в России.

– Безусловно, – ответил Илларионов, – хотя, к сожалению, не могу утверждать, что неукоснительно соблюдаю все обряды и установления православной церкви.

– Как правило, – продолжил Джонсон-Джонсон, – к вере в детстве нас подвигают родители. Мне известно, что КПСС проводила политику официального атеизма. В этой связи, возможно, мой вопрос некорректен, но все же, верили ли в Бога ваши родители, господин Терентьев? Верил ли в Бога ваш отец? Можно ли считать, что ваша вера – продолжение веры ваших родителей, в частности, вашего отца, господин Терентьев?

Илларионов не сомневался, что их разговор пишется на видеопленку, но он был уверен, что вопросник окажется проще. Проверка на возможное обладание информацией, на степень готовности делиться информацией, блокировку путей сокрытия информации, быстроту реакции, скорость вхождения в системный анализ и так называемую скорость постижения происходящего, то есть смысла, ощущение опасности, порог риска, наконец, определение цены. Ну и далее по схеме. Но Джонсон-Джонсон почти сразу задал вопрос на подсознание, что свидетельствовало о сложности и серьезности предстоящей игры. Илларионов засомневался, надо ли ему в этот омут.

Говорил ли он с отцом о Боге?

Конечно, говорил, но так и не сумел уяснить, верит отец или нет. Каждый раз, когда речь заходила о Боге, о вере, глаза отца становились яркими, лицо же бледнело, что являлось у него признаком глубочайшей тоски. Один разговор, однако, как гвоздь засел у Илларионова-младшего в памяти. «К нему можно относиться по-разному, – помнится, сказал отец, – но истоки его силы в том, что он все делал правильно». – «Применительно к обстоятельствам и коллизиям своего времени?» – уточнил Илларионов-младший. «Применительно к тому, что понимается как бессмертная человеческая душа, – ответил отец, –

следовательно, применительно к любым обстоятельствам и коллизиям, могущим возникнуть среди людей. Да вот беда, – добавил отец едва слышно, – никто после него не делал правильно».

– Полагаю, что моя вера – продолжение веры моего отца, – заверил мормона Илларионов, – хотя мне трудно ручаться, что моя вера – стопроцентное продолжение его веры. Моего отца, видите ли, уже нет в живых, а вера, согласитесь, вещь достаточно личная, если не сказать – интимная.

– И последний вопрос, господин Терентьев, – не стал соболезновать глава миссии мормонов в России, – как вы относитесь к учению мормонов? Не противоречит ли вашим убеждениям сотрудничество с нами? Согласны ли вы принимать от нас деньги за свой труд?

– Всякая сущность, как известно, отбрасывает тень, – вздохнул Илларионов.

– Поясните, пожалуйста, свою мысль, – попросил Джонсон-Джонсон.

– Химия – алхимия, – охотно пояснил Илларионов. – Футурология как научное предвидение – гадание... по картам Руби, медицина – знахарство, лоно церкви – секты. Тем не менее я допускаю, что для многих заблудших путь к истине пролегает через тень, точнее, преодоление тени, в том числе и через учение мормонов. Как человек и гражданин, господин Джонсон-Джонсон, я вынужден сосуществовать с, увы, учащающимися и набирающими силу отступлениями от истины, но только, естественно, в том случае, если в них не содержится изначально, то есть умышленного, зла.

– В таком случае, – любезно закончил беседу Джонсон-Джонсон, – я жду вас завтра в двенадцать для подписания деловых бумаг. Вас устроит статус научного руководителя международного издательского, скажем так, проекта? Если Библия как гиперроман для Интернета состоится, господин Терентьев, у вас как у автора идеи есть все шансы сделаться очень обеспеченным человеком.

Деньги сами тебя найдут, вспомнил Илларионов слова отца. Неужели он имел в виду эти деньги?

– Простите, господин Джонсон-Джонсон, – любопытствовал Илларионов, – не подскажете ли, как мне к вам лучше обращаться? Согласитесь, господин

Джонсон-Джонсон – это слишком длинно и сложно для русского языка.

– Вы хотите знать мое имя? – приветливо показал идеальные зубы мормон. – My first name? Называйте меня просто Джоном, господин Терентьев. К сожалению, ничего не могу изменить. Так уж назвали меня мои дурные родители...

Уходя, Илларионов уронил на коврик платок, а когда под понимающим взглядом Джона Джонсона-Джонсона поднял его, ему уже было известно, почему на полу такое количество разноцветных ковриков. Все объяснила случайно промелькнувшая в коврике металлическая, точнее, золотая нить. Коврики служили антеннами. В самом деле, не выводить же спутниковые антенны на крышу мирной религиозной миссии?

...Илларионов стоял на пороге своей квартиры, с болезненным любопытством вглядываясь в длинный – как будто комнат было не две, а по меньшей мере десять – темный коридор. В этот момент его можно было брать голыми руками сзади, но Илларионов знал, что физическая смерть – почему-то она виделась ему в виде трассирующего, вычерчивающего во тьме светящуюся линию удара: не то молнии, не то лазера, не то какого-то сверхтонкого острого лезвия – придет к нему именно из коридора с черным креслом, правда, он не знал – этого или другого коридора. И еще такая странная деталь: Илларионов как бы заранее знал, что сможет в свой смертный час не только подробнейшим образом разглядеть летящий ему в шею луч, но и в случае необходимости уклониться от него, отвести от себя рукой – да, именно рукой! – молнию-лазер-лезвие, но почему-то не делает этого.

Находясь дома, Илларионов частенько сиживал, не зажигая света, в продавленном кирзовом, оставшемся от прежних жильцов кресле в коридоре напротив стеллажей с книгами, сливаясь... с чем?.. растворяясь... в чем? Самые неожиданные, ложившиеся позднее в основу действий немалого числа людей мысли приходили к Илларионову именно в коридоре. Отец, побывав в его новой квартире на Сивцевом Вражке, понял все без слов. «Скажи Толстому, – сказал отец, – чтобы выгородил тебе кабинет из коридора. В третьем корпусе в пятьдесят третьем году целый отсек замуровали. Он знает где». – «Не выгородит», – вздохнул Илларионов-младший. «У меня в том отсеке, – продолжил отец, – была русская банька. Тебе хорошо думается в коридоре, а мне – в баньке».

Вот только кожаное кресло не понравилось отцу.

«Выброси, – посоветовал он, – негоже сидеть в чужом кресле». – «Да я его от побелки отмыл, ножки укрепил, уже вроде как мое», – возразил Илларионов-младший. «Не твое – выброси! – повторил отец. – От чужих вещей всегда беда».

– Джон? – набрал Илларионов номер полковника (а может, у него, как у многих американских разведчиков, было морское звание?) мормона. – Господин Джон Джонсон-Джонсон? – Ему иногда доставляло удовольствие полностью произносить вымышленное имя. Так и хотелось добавить: «Джонсович». Это как бы выводило жизнь за границу реальности, развязывало мысли и руки. И еще он был очень доволен, что мормон не мог в свою очередь назвать его Терентием Терентьевичем Терентьевым или Илларионом Илларионовичем Илларионовым, не мог скользить по его имени, отчеству и фамилии, как на коньках по льду, а был вынужден на первом шаге спотыкаться: Андрей Терентьевич Терентьев.

– Андрей, – откликнулся мормон. – Я получил очень любопытные факсы из Чарльстона и Цинциннати. Мне бы хотелось в этой связи кое-что с вами обсудить.

– Я готов. – Илларионову всегда нравилось наблюдать за игрой теней в сумеречном коридоре своей квартиры. Она была крайне причудлива и многосложна, эта игра. Допустим, по двору проезжала, светя фарами, машина. Свет ее фар, многократно преломившись об углы дома, водосточные трубы, выступающие балконы, достигал окон илларионовской квартиры и, уже просеявшись сквозь окна, как сквозь сито, то в виде кривой, как сабля, полосы, то россыпью дрожащих пятен, пробежал по стенам и потолку коридора. Илларионов часто думал: что есть выигрыш в игре теней? Ему казалось, что выиграть в этой игре так же трудно, как, скажем, определить по пробежавшим по стенам и потолку полоске и пятнам: что за люди сидели в светящей фарами машине? И еще подумал, что мир устроен таким образом, что на каждую, даже самую нелепую и иррациональную, загадку непременно отыскивается человек, который зачем-то ее разгадывает. Если существует замок, то существует и ключ, который должен его отомкнуть. Вот только они не всегда совпадают во времени и пространстве.

– Мне бы не хотелось делать этого по телефону, Андрей, – произнес после паузы мормон. – Вы не могли бы прямо сейчас приехать в миссию? Я готов послать за вами машину.

– Нет необходимости. Я буду у вас через полчаса, – пообещал Илларионов.

Оказавшись на Арбате, Илларионов поймал себя на мысли, что пока не сумел составить ясного представления о Джоне Джонсоне-Джонсоне. В иные моменты Илларионов искренне верил, что он – правоверный мормон, всерьез увлеченный проектом создания компьютерной версии Библии как гиперромана. Впрочем, еще отец говорил ему, что настоящий профессионал, если берется, делает профессионально любое – пусть даже поначалу незнакомое ему – дело. Иначе – не берется. У Илларионова-младшего не было оснований сомневаться в том, что Джонсон-Джонсон – профессионал. Даже в такой тонкой материи, как выплата денег. Мормон платил хорошо, с аптекарской точностью оценивая труд Илларионова и выдерживая условия контракта. Платил точно. Не переплачивая.

Над Арбатом искусственный неоновый свет смешивался с натуральным сумеречным. Но над обитым радиопроницаемой медью шпилем МИДа неон растворялся в глубоком, как перевернутый колодец, зелено-сиреновом небе. В этот сумеречный час на небе, с трудом просверливая смог, показывались тусклые вечерние звезды. Потом они уступали место почти совсем неразличимым звездам ночным.

В конце семидесятых, работая в аналитической группе, занимающейся исследованиями тенденций в области культуры, Илларионов-младший сочинил записку о феномене так называемого сумеречного сознания. В те годы руководство страны было всерьез обеспокоено широким распространением этого типа сознания в среде советской творческой интеллигенции. Сопоставительный – на ЭВМ – анализ различных текстов показал, что чаще всего слово «сумерки» употреблял запрещенный тогда в СССР философ Фридрих Ницше. По части же художественного описания сумерек отличился великий пролетарский писатель Максим Горький. В неоконченном романе «Жизнь Клима Самгина» он, к примеру, дал шестьдесят семь пространных картин сумерек.

Илларионов понял, почему отказался от предложенной мормоном машины. Ноги сами несли его к гадалке Руби.

Сопrotивляясь этому стремлению, замедляя шаг у витрины с экзотическими фруктами по запредельным ценам, Илларионов вдруг подумал, что, в сущности, и такое явление, как гиперроман, лежит в плоскости сумеречного сознания. Как наглядное свидетельство типичного сумеречного сознания Илларионов в той давней своей записке приводил навязчивую идею одного жившего, кажется, в

Оренбурге народного мыслителя получить точное графическое изображение Господа Бога. Он предполагал сделать это с помощью своего рода фоторобота, путем последовательного наложения друг на друга подогнанных под единый стандарт фотографий всех жителей Земли. Илларионов, помнится, не поленился вступить с ним под видом сотрудника журнала «Техника молодежи», куда тот адресовал свои заказные бандероли, в переписку. Илларионов поинтересовался: изображение какого, собственно, Бога имеется в виду – Христа, Будды или Аллаха? И как быть в этом случае, допустим, с фотографиями младенцев? Измученный долгим невниманием со стороны организаций, куда он отправлял свои философские труды, народный мыслитель ответил телеграммой-молнией: «Плюс женщины и младенцы обоих полов – Бог Отец, создавший человека по образу и подобию своему. Бог Сын – только мужчины, достигшие полных тридцати трех лет».

Илларионов приближался по Арбату к постоянному (видимо, оплаченному) месту гадалки Руби. И чем ближе приближался, тем гуще становилась на его пути толпа. Он подумал, что если бы сейчас писал работу о гиперромане как проявлении сумеречного сознания, то, вне всяких сомнений, обратил бы внимание на такую его особенность, как отсутствие (или, выражаясь языком логики, линейную незаданность) конечного замысла. Бесчисленные сюжетные линии гиперромана расходились в разные стороны, как люди с Арбата. Расходились, скрывая, растаскивая по частицам тайну своего существования.

Нелепая мысль, что прямо сейчас здесь, на Арбате, гадалка Руби откроет ему величайшую тайну сущего, заставила Илларионова прибавить шагу.

Толпа, как будто подчиняясь невидимым магнитным линиям, обтекала, не задевая, плесневеющую колоннаду Театра имени Вахтангова.

Кажется, в шестьдесят восьмом – Илларионов-младший учился тогда в девятом классе – он открыл сейф отца и обнаружил там фотографии тел пришельцев из космоса с уничтоженной американцами в сорок седьмом над островом Пасхи летающей тарелки. Точно такое же, как сейчас, чувство, что вот еще немного, самую малость – и он узнает всю истину, охватило тогда Илларионова. Он поминутно подбегал к окну, высматривая отцовскую машину.

Отец вообще не приехал в тот день домой. Под вечер измученный ожиданием и близким присутствием истины, Илларионов-младший отправился в большую комнату, где стоял шкаф с фарфоровыми статуэтками. Свет от люстры падал на

статуэтки кавалеров в камзолах, дам с веерами, в золотых туфельках, на очень редкую статуэтку периода Великой французской революции – гильотину, под которую два дюжих палача в красных колпаках укладывали приговоренного строптивца. Воздух вокруг люстры нагревался. Тени начинали жить своей жизнью: дамы шевелили веерами, псы и всадники отставали от уходящего под вазу оленя, строптивец определенно пересиливал палачей. Илларионов-младший до того засмотрелся на театр теней в шкафу под колеблющимся светом люстры, что приуготовленная к узнаванию истина предстала не то чтобы не имеющей место быть, но как бы несущественной, то есть независимо от своего существования (или несуществования) не влияющая на протекающий в отсутствии замысла (линейной незаданности) гиперроман-жизнь.

Илларионов-младший так и не спросил у отца про пришельцев.

Вот и сейчас, спустя почти тридцать лет – уже в ином времени, в иной стране, – он опять увидел театр скрывающих истину теней. Одна тень определенно принадлежала гадалке Руби. Другая – клиенту в дорогом кожаном, как бы струящемся с его плеч пальто и в варварской какой-то, как мохнатое колесо, песцовой шапке. Тень гадалки напоминала склоняемый ветром к земле куст. Тень клиента – гвоздь. Гадалка протянула клиенту свернутый лист бумаги. Клиент медленно развернул, прочитал, спрятал, после чего что-то быстро протянул гадалке, и та, благодарная, буквально припала к его груди.

В театре теней, как всегда, играли в полутьме, сзади и наоборот.

Илларионов, уже понимая, что случилось непоправимое, бросился вперед, но варварская, как мохнатое колесо, песцовая шапка над струящимся, переливающимся в арбатском неоне кожаном пальто пошла, набирая скорость, сквозь толпу, как нагретый гвоздь сквозь масло. Это был особенный метод ухода с места события сквозь толпу, требующий концентрации воли и специальной тренировки мышц. У Илларионова мелькнула совершенно идиотская и неуместная мысль, что этот парень не пропал бы при столпотворении в дни похорон Сталина. Илларионов остался под сырой колоннадой один рядом с приколотой, как коллекционная бабочка, длинной острой заточкой к наглухо запертой двери театра теней (имени Вахтангова?) умирающей гадалкой Руби.

До сих пор майор в отставке Пухов считал скорострельные пистолеты с оптическими прицелами не более чем дорогими игрушками, но этот – неизвестной немецкой фирмы с латинским названием «Fovea» – показался ему самым совершенством. Он был хорош для использования на пересеченной местности, когда мирный житель или беженец отличается от боевика, бандита или борца за свободу какого-нибудь немногочисленного народа главным образом отсутствием торчащего за спиной или на животе дула. Был хорош для отслеживания мишени в толпе и из толпы. Для отражения ожидаемого, но каждый раз совершенно неожиданного нападения и одновременно для осуществления этого самого ожидаемого (уже другими), но каждый раз совершенно неожиданного (уже для других) нападения.

Пухов когда-то изучал латынь, но слово «Fovea» не зацепилось в памяти. Впрочем, в бывшем пансионате ЦК и Совмина – ныне Управления делами Администрации президента России – сохранилась приличная библиотека. Пухов без труда установил, что слово «Fovea» означало у древних римлян не что иное, как «яму для ловли зверей». Название, таким образом, не только таило в себе глубокий смысл, но и свидетельствовало о возрождении германского оружейного гения. Для завершающих XX век годов скорострельный пистолет «Fovea» вполне мог оказаться тем самым невидимым рубежом, каким для тридцатых годов XX века явился лучший пистолет всех времен и народов «Para bellum».

«Распад Советского Союза, – констатировал майор в отставке Пухов, – вне всяких сомнений, послужил побудительным стимулом для сворачивания производства оружия массового поражения и совершенствования экологически чистого стрелкового оружия для штучных убийств, точечных демографических чисток». Он был абсолютно уверен, что больше всего усилий, для того чтобы лишить Россию остатков ядерного оружия и тем самым уравновесить ситуацию в предстоящей борьбе за жизненное пространство (которого им во все времена фатально не доставало), приложат именно немцы – известные мастера и любители стрелкового оружия, равно как и расширения жизненного пространства.

И еще Пухов подумал, что для пистолета «Fovea» можно немедленно найти сугубо прикладное (не дожидаясь гипотетической войны с немцами) применение, а именно: прямо сейчас, здесь, в номере пансионата «Озеро», с видом на озеро взять да застрелиться.

Стало быть, латинский термин «яма для ловли зверей» был термином обоюдоострым. Пухов за свою почти сорокалетнюю жизнь уничтожил немало вооруженных и безоружных зверей, но не раз и не два слышал это слово – «зверь», – произносимое разными людьми на разных языках и в свой адрес. Видимо, некая высшая справедливость заключалась в том, что рано или поздно в «яму для ловли зверей» сваливались (или сталкивались) сами ловцы. И уже никто в этом случае не мог (и не хотел) отличать их от зверей.

Пухову приходилось читать про русских послереволюционных эмигрантов, умиравших за границей от тоски по Родине. Сейчас ему было не отделаться от ощущения, что население России, оставаясь в подавляющем большинстве на Родине, тоскует по Родине. Тоска по Родине на Родине являлась не столь уж редко встречающейся в истории разновидностью массового психоза. В России этот, выражаясь научным языком, психосоматический психоз сопровождался утратой воли, столь же массовым нежеланием жить, в смысле длить более или менее осмысленное и продуктивное физическое существование. Разные люди тосковали по-разному, но если приводить русскую тоску по Родине на Родине к некоему общему знаменателю, то получалась тоска по воле. Пухов в очередной раз восхитился метафизической (на уровне подсознания народа) пластичностью русского языка. Томас Манн, впрочем, классифицировал это свойство великого и могучего как «бесхребетность». В термине «воля» сожительствовавали два взаимоисключающих смысла. Хлебнув одной – расслабляющей, полуразбойничьей, песенной – воли, народ страстно затосковал по ее негативу – грубо организующей его жизнь, но главным образом ограничивающей ту самую песенную, полуразбойничью волю, играя с которой, народ, как ребенок собственный дом, спалил страну. Народ пресытился расслабляющей волей, возненавидел ее, как прежде организующую, понуждающую его, государственную волю, о которой сейчас был готов слагать песни.

Глядя в окно на стылый (за городом в тот год почему-то было гораздо прохладнее, чем в напоминающей Сочи Москве) позднеосенний подмосковный пейзаж, на готовящееся заледенеть-застеклиться озеро, майор Пухов подумал, что великий Ницше был не вполне прав, объясняя движение истории наличием в людях воли к власти. В России все определилось не волей к власти, а волей власти. Как объяснил Пухову в транспортном самолете – глухой беззвездной ночью команда майора летела тогда в Баку – толстый, лысый, похожий на мешок с мукой генерал с аристократической фамилией Толстой, власть, давшая народу губительную волю, тем самым сделала народу – на века! – прививку против извечной русской болезни – анархии. Сейчас надо потерпеть, сказал генерал,

дать время власти отвердеть: сначала в пределах кремлевских стен, затем – Садового кольца, затем – Московской кольцевой автодороги и – дальше, дальше, дальше. «Власть в России сейчас меняет сущность, как змея шкуру, – сказал генерал, – другого пути, кроме как каменно отвердеть, у нее нет. Я сам, – рванул на горле камуфляж генерал Толстой, – нахожусь на грани самоубийства. Имперская тоска сжигает душу. Но надо преступить...»

Пухову запомнились слова: «Имперская тоска сжигает душу...» Если уподобить душу листу бумаги, то края листа занялись ползучим пламенем у майора в начале восьмидесятых на границе Афганистана и Пакистана, где его команда вырезала караваны белуджей и уйгуров, но пропускала караваны узбеков и таджиков, приводя тем самым племена в состояние взаимного недоверия и повышенной боевой готовности, что, в свою очередь, делало границу непредсказуемой и частично непроницаемой для направляемой со всех концов (Пухову даже попадались противопехотные мины с клеймом «Сделано в Бенине») афганцам военной помощи. Майор не был сентиментальным человеком, но известное изречение «Величие покоится на крови» – красивое и вдохновляющее в обитых мореным дубом кабинетах Минобороны в Москве – здесь, посреди разрушенных кишлаков, растерзанных людей в камуфляже и в чалмах, овец и верблюдов, представлялось сродни знаменитому «Arbeit macht fr̄ie» при входе в газовую камеру.

Быстрее, чем у майора Пухова, огонь имперской тоски (видимо, дрова были суше) сжигал душу начальника разведки подразделения капитана Сергеева. «На этом не может покоиться величие, – помнится, однажды заметил Пухов, окидывая взглядом оставляемый их подразделением – в духе Сальвадора Дали – пейзаж в пустыне. – На этом не может покоиться ничего достойного». – «Кое-что может», – неожиданно возразил ему обычно молчаливый и не по званию сосредоточенный капитан Сергеев. «Что именно?» – поинтересовался Пухов. «Все это, – кивнул капитан Сергеев на песок, кровь, слетающихся клевать кровоточащие тела стервятников – они были похожи на странствующих дервишей с язвами на лицах, в черном дранье, – придет к нам. И очень скоро. И больше, ты прав, ничего».

Имперская тоска окончательно испепелила, наверное, лист души майора Пухова в Степанакерте, в Гяндже, в Тбилиси, в Литве – в Вильнюсе и на самочинных литовских таможах. Прежняя афганская тоска, в сравнении с тоской прибалтийской, была, в общем-то, тоской почти сладкой, ибо в ней не было примеси того, что делает тоску непереносимой для мужчины, а именно –

предательства.

Впервые и сразу в глазах у многих уважаемых им прежде людей Пухов увидел библейскую «тоску предателя» по возвращении из медвежьего угла Литвы – Медининкай, – где кто-то надоумил литовцев (или они сами додумались) поставить дощатую, похожую на большой дачный сортир, таможду. Тогда-то майор окончательно понял, что, когда империю предают те, кто должен по долгу службы защищать (империю и тех, кто исполняет их приказы), ее уже не спасет ничего. В тогдашней Советской армии не нашлось командира, готового взять на себя, возможно, невинную, но пролитую во имя империи кровь.

«Если нам хотят вернуть чужую кровь, которую мы пролили по их приказу, – развил перед ребятами вечером в сауне тревожную мысль Пухов, – наша работа теряет смысл и моральное обоснование. Есть неписанный закон: исполнитель отвечает только за неисполнение или плохое исполнение приказа, а не за его смысл и последствия. Мы выполнили приказ. Но нас за это хотят не наградить, а отдать под трибунал. Я лично не собираюсь под трибунал. Я выхожу из игры. У каждого своя голова на плечах. Думайте. Я их не боюсь, но и никого из вас я больше прикрыть не могу. Отныне каждый решает сам».

Утром он честно подал в штаб ВДВ рапорт об отставке, хотя и мелькнула мыслишка запечатать его в конверт да и отдать знакомой проводнице, чтобы отправила по почте, скажем, из Уссурийска. Но майор полагал, что пока еще инициатива за ним.

Пухов понял, что ошибался насчет инициативы, когда его – профессионала не из последних – мгновенно и совершенно незаметно взяли прямо на выходе из здания штаба ВДВ. Майор всегда искренне восхищался (хотя сегодня был не тот случай) чужим, в особенности превосходящим его собственным, профессионализмом. То, что на каждую хитрую... неизменно отыскивался... с винтом, сообщало жизни прекрасную тайну, свидетельствовало, что в ней всегда есть место не только для подвига, но и для неожиданностей, не позволяло излишне расслабляться, утомляться собственным предвидением.

Майор не сомневался, что его кончат прямо в джипе «шевроле» со специально, видимо, для этой цели затемненными стеклами. «Хоть заройте поглубже, – преодолевая гордость, обратился он к убийцам, – чтобы не таскали по моргам да по прозекторским». – «Спешишь, парень, – усмехнулся в ответ один, – пока что в гости едешь».

«В эти гости я всегда успею», – подумал Пухов, нащупывая разрезавшую не одно чужое горло струну под манжетом рубашки, но сидевший рядом погрозил удивительно прямым, неестественным каким-то, нечеловеческим пальцем: «Сиди спокойно. Мы же тебя не обижаем». Пухов понял, что один тычок этого пальца проткнет ему гортань, как сучок падающую спелую грушу, и еще понял, что, если бы эти ребята действительно хотели его убить, они бы убили его давно (как только получили приказ) и так, что он (и вообще никто) бы этого не заметил.

Майору Пухову казалось, что он неплохо знает Лубянку, но они подкатили к какому-то неизвестному ему внутреннему подъезду. Пухова повезли наверх на допотопном – сталинских, не иначе, времен – неухоженном, с надраенной медью, в зеркалах, с черным телефонным аппаратом «Сименс-Шуккерт» на столике – лифте. Майор догадывался, что Лубянка с въевшимся в ее стены, коридоры, бетонные и деревянные перекрытия и потолки духом смерти и несбывшихся надежд хранит немало тайн. Но он знал, какой силы удары наносились по ней в последнее время. Если Лубянка и была одним из китов, на которых когда-то, как на сваях, стояло государство, то сейчас этот пронзенный многими гарпунами многих капитанов Ахавов белый кит Моби Дик исходил последним кровавым фонтаном.

Выйдя с сопровождающими из лифта в нескончаемый, как ему показалось, коридор, Пухов ощутил себя библейским Ионой во чреве Левиафана, героем Жюль Верна (майор не помнил, как того звали), оказавшимся в пещере на подводном корабле «Наутилус», где отдавал Богу душу капитан Немо.

Однако встретивший его в одном из кабинетов пожилой, круглый, похожий на мешок с мукой генерал (Пухов тогда не был лично знаком с генералом Толстым, но был, как говорится, наслышан), похоже, совершенно не собирался отдавать Богу душу. Он, как черт из табакерки, выскочил в кабинет из какой-то боковой дверцы в дурном каком-то одеянии: в тельняшке, широченных белоснежных то ли мусульманских штанах, то ли русских подштанниках, в наброшенной поверх тельняшки кожаной куртке с неуместной эмблемой «U.S. Air Force». Лысая розовая голова генерала лоснилась. Пухов был готов поклясться, что он только что из парилки. Майор вдруг подумал, что Бог брезгует душой генерала.

– Величие Грибоедова недооценивается. – Генерал пригласил Пухова присесть на жесткий стул перед своим огромным, черным, как ночь или смерть,

столицем. – Так же как величие, скажем, Иосифа Бродского определенно переоценивается. Шел в комнату, попал в другую, ведь так, майор? Все, что отныне будет происходить с тобой, будет иллюстрацией золотого, но горького правила – горе от ума. Не классовая борьба, майор, а горе от ума – движущая сила истории.

– Почему только отныне? – поинтересовался Пухов. – Разве раньше было иначе?

– Раньше был приказ, майор, – ответил генерал. – Горе от приказа – естественная форма существования российского государства, в особенности же российских вооруженных сил. Горе от ума – их погибель.

Пухов не ухватил сути генеральской мысли. Собственные его мысли как-то вдруг растерялись, застывали во времени и пространстве. К примеру, ему не давал покоя нарисованный портрет в застекленной рамке на стене за спиной у генерала. Майор льстил себе, что знает (главным образом, естественно, по фотографиям) всех руководителей Лубянки. Но вот этого совершенно точно не знал. Пухову доводилось общаться с людьми, умеющими мыслить системно, как компьютеры, и сразу по многим направлениям. Себя майор к их числу не относил. Слишком много времени и сил в жизни было потрачено на тренировку тела. Иногда он почти физически ощущал, как мысль, бесконечно упрощаясь, меняя сущность, поселяется в его бицепсах и мышцах. Автоматически думало и действовало тело майора, но никак не его разум. Пухову открылось, что невозможно быть одновременно очень умным и очень физически сильным.

Ему показалось, что где-то он видел если и не самого человека с застекленного карандашного портрета, то кого-то очень на него похожего. Вот только кто это был, майор не мог вспомнить. Кажется, какой-то генерал.

– Здесь что? – посмотрел по сторонам Пухов. – Музей?

– Пожалуй что музей, – согласился генерал. – В свое время это крыло запечатали, как секретный конверт, замуровали. Почитай, сорок с лишним лет никто не совался. Думаешь, следует открыть для любопытствующей публики? Лаборатория сталинских ужасов! Тайный кабинет Лаврентия Берии открывает двери! Думаешь, повалит народец, а?

– Кто это? – кивнул майор на не дававший ему покоя карандашный портрет под стеклом. – Ягода?

– Это? – тоже обернулся, как будто впервые увидел портрет, генерал. – Это... Должен был стать министром госбезопасности после Берии. Не захотел. А стал бы – у нас бы сейчас была совсем другая страна. Совсем, совсем другая... – повторил он мечтательно и с долей мазохизма.

Майор подумал, что советский генерал Гоголь из фильмов про Джеймса Бонда – тонкий намек на генерала Толстого.

В былые времена майор получал четкие недвусмысленные приказы и отчитывался непосредственно перед отдавшим приказ вышестоящим командиром, который награждал за хорошую работу и наказывал за плохую. Государство, таким образом, односторонне, скупое, но конкретно общалось с майором через вышестоящего командира. Круг замыкался. Все было ясно и понятно. Когда круг разомкнулся и военная машина заскрежетала, заискрилась, лишенная управления, силовые линии в ней смешались, усложнились, перепутались, превратились в омерзительную, каждый раз отгадываемую по новой загадку. Люди, которые действительно что-то решали, за которыми была сила и реальные материальные ресурсы, превратились в вымирающих динозавров. Они отнюдь не стремились открыто о себе заявлять, эти люди. После Тбилиси и Баку майор Пухов уже наверняка не знал, кто отдает приказы и кто оценивает их исполнение. Но все чаще невидимые силовые линии, по которым он был вынужден, как на роликах, скользить в силу особенности своей службы – иногда по касательной, иногда как бы параллельно и будто бы не напрямую, иногда же весомо, грубо, зримо, как сейчас, – выкатывали его на генерала Толстого. Никто доподлинно не знал, что это за генерал и чем конкретно он занимается. Но было совершенно очевидно, что объем его реальной власти значительно превышает объем власти, отмеренный генерал-лейтенанту Департамента федеральной безопасности (ДФБ), пусть даже на генерал-полковничьей должности. Одни говорили, что возглавляемое им двенадцатое управление занимается некими специальными, то ли из области парапсихологии, то ли просто психологии операциями. В мутной воде (тихом омуте) коллективного бессознательного русского народа будто бы ловят генерал Толстой и его люди свою рыбку. Другие – что будто бы он оказал неоценимые услуги (чуть ли не обеспечил с помощью этой самой парапсихологии вечную жизнь и, следовательно, вечную власть над Россией) нынешнему президенту, за что тот и поставил его чуть в стороне, но над всеми. Пухов, впрочем, в этом

сильно сомневался. За неоценимые услуги не жаловали и в спокойные времена. В смутные же рассчитывались, как правило, быстро и почти всегда... головой в омут.

– Решил, сынок, соскочить с нашего летящего вперед паровоза? – сощурился на Пухова генерал.

«Сколько ему лет? – подумал майор. – Должно быть, никак не меньше восьмидесяти. Почему он без очков?»

Пухова удивили непривычные буквы, какими было набрано название лежащей на генеральском столе газеты – «Правда». Он посмотрел внимательнее: газета была от 28 июля... 2033 года. Это было совершенно невероятно, но именно такой год значился на уже почти забытой в России газете «Правда», остановленной президентским указом, если майор Пухов не ошибался, кажется, в мае 1998 года.

– Музей, – похлопал по газете ладонью генерал. – Ты не ответил на мой вопрос, сынок.

– Я бы не стал соскакивать, – пожал плечами Пухов, – если хотя бы приблизительно представлял себе маршрут и не сомневался, что машинист паровоза в здравом уме.

– Считай, что тебе повезло, майор, – сказал генерал. – Ты сейчас находишься в обществе человека, который пока еще может принимать решения, отдавать приказы и брать на себя ответственность.

– Возможно, – не стал спорить Пухов, – но я служу Родине, а не сильным людям. Хорошо, конечно, когда сильные люди олицетворяют собой Родину. Но сильные люди далеко не всегда олицетворяют собой Родину, товарищ генерал.

Он хотел добавить: «И вам это известно лучше, чем мне». Но промолчал.

Зачем, к примеру, нужно было помогать талышскому вождю со странным именем Шоша? Этот золотозубый, двухметрового роста Шоша, как определил по его наколкам Пухов, большую часть жизни провел в зоне. Руководил операцией по

спутниковой связи, как установил позднее Пухов, легендарный генерал Толстой, а всю грязную работу, как водится, делали ребята Пухова. Да, Шоша с ходу захватил азербайджанский райцентр, но вместо того, чтобы провозгласить, как планировалось, независимую демократическую республику на самой границе с Турцией, послать телеграммы и ООН и ЮНЕСКО, он затеял в городе бессмысленную резню. «Он поднял свой флаг над зданием администрации», – доложил Пухов генерал-майору Худоногову (такой псевдоним выбрал себе генерал-лейтенант Толстой) по спутниковой связи.

Круг фонтана на площади перед зданием администрации к этому времени уже был забит трупами по самое бетонное горло. Фонтан тем не менее продолжал действовать. Красная вода выплескивалась из него, как вино из переполненной чаши. «Майор, ты выполнил задание, забудь о нем, немедленно возвращайся домой. Вас там не было» – такой приказ пришел по спутнику. Приказ «генерал-майора Худоногова» понравился Пухову своей ясностью и стопроцентным цинизмом. Это было пусть плохое, но твердое «что-то» посреди не плохого и не хорошего, похожего на вонючий кисель «ничто».

Посадив ребят в вертолет, майор остался. Ненужный риск. Чужая война.

Никто не собирался выплачивать ему сверхурочных, но Пухову (хоть это было в высшей степени нетипично для, как правило, бедноватого русского офицера-спецназовца начала девяностых) хотелось получить ответ на единственный вопрос: зачем?

Накрывшись тряпьем, Пухов наблюдал за развитием событий в городе с заброшенной голубятни. Он лежал, не двигаясь, вперившись в бинокль. Одичавшие голуби перестали обращать на него внимание, а один даже нагадил майору на нос. Это была хорошая примета – верный знак, что Пухову удастся выбраться отсюда живым. Хотя, с другой стороны, только какой-то крайне презираемый Господом человек сумел бы проваляться несколько часов на полу голубятни так, чтобы ни одна божья птица на него не нагадила.

Тогдашнему азербайджанскому руководству, занятому куда более масштабной и важной войной в Карабахе, естественно, было не до Шоши, отщипнувшего от их страны крохотный (в сравнении с теми, какие отщипывали армяне) кусочек территории. Талышскому вождю оставалось всего ничего: закрыть два высокогорных перевала (для этого требовались от силы десять человек и две гаубицы) и сидеть, выжидая, до следующей весны в своем независимом

демократическом государстве. В распоряжении Шоши было гораздо больше чем десять человек. Что же касается гаубиц, то майор Пухов лично доставил их ему во чреве грузового самолета МЧС под видом продовольствия для пострадавшего от землетрясения населения в долине пограничной реки.

Мятеж подавили турки, которых, честно говоря, майор Пухов не принимал во внимание, настолько въелась в голову атавистическая, как оказалось, уверенность насчет неприкосновенности бывших советских границ. Он бывал здесь в прежние годы и помнил, как турки не приближались к молоткастым-серпастым пограничным столбам ближе чем на сто метров.

Они спокойно перешли границу силами примерно мотострелкового полка. Через два часа с новым независимым государством было покончено. Азербайцы, похоже, до сих пор ничего не знали про чуть было не возникшее у них в юго-западном углу независимое демократическое государство талышской нации во главе с президентом по имени (или фамилии?) Шоша.

Этот Шоша оказался парнем, как выражаются американцы, со стальными яйцами. Он, как и полагалось крутому террористу (борцу за свободу), засел в самом крепком в райцентре (местном отделении национального банка) здании, объявил находившихся там кассирш, бухгалтерш и охранников заложниками, проревел в мегафон туркам свои условия, на которые тем, естественно, было плевать с высокого минарета. Шоша в прошлом имел какие-то дела с курдами, турки же в те годы крепко недолюбливали курдов.

Шоша отстреливался до последнего. Когда боеприпасы подошли к концу, он заставил подняться на бетонный забор крохотную (вряд ли она еще ходила в школу) девочку-заложницу. В белом платьице с широко открытыми от ужаса глазами она показалась смотрящему в бинокль из голубятни майору Пухову ангелом. Шоша застрелил ее на глазах у турок. После чего еще раз потребовал для себя и заложников автобус. Турки между тем, не торопясь, навели через пограничную речку понтонный мост, перегнали на сопредельную территорию танк. Он и въехал, как незванный гость, прямо в дом к Шоше и заложникам. Окровавленный, с выбитыми зубами, что-то крича черной воронкой рта, Шоша пошел на танк с голыми руками. Его так и пристрелили – выстрелом в голову, – вцепившегося мертвой хваткой в железную гусеницу. Потом выбравшийся из танка турок огромным зазубренным с одной стороны ножом отрезал голову Шоши, брезгливо поднял за волосы и ударом ноги, как футбольный мяч, отправил ее в пламенеющую у фонтана маковую клумбу.

Сейчас у майора Пухова была возможность спросить у генерала Толстого: «Зачем?» Но он молчал, потому что на каждое его «зачем» у генерала отыскалось бы по десять «затем». Как простых: необходимо было определить степень готовности турок вмешиваться во внутренние дела азербайджанцев. Так и сложных: спецоперации – это своего рода тончайшее нейрохирургическое вмешательство, призванное не столько выполнить поставленную задачу, сколько сканировать во всей своей противоречивости сложившуюся в данном регионе военно-политическую ситуацию, определить намерения и степень готовности рисковать основных геополитических субъектов; спецоперации редко приводят к однозначным результатам; результаты спецопераций становятся очевидными (естественно, не для всех) только по прошествии времени в случае принятий на основе их всестороннего анализа правильных государственных решений.

«Спецоперации, – вдруг подумал майор Пухов, – сродни вживлению в организм раковых клеток. Тактика (клинические симптомы) у раковых клеток может быть самая разная и неожиданная, но стратегия у них всегда одна-единственная – смерть».

– У тебя легкая, летящая фамилия, майор, – задумчиво посмотрел на него генерал. – Но для солидной мирной жизни ты бесполезен, если не сказать – опасен. Крылья у тебя вырастают только на войне.

– Крылья Икара? – спросил Пухов.

– Икара? – удивился генерал Толстой. – Полет Икара, сынок, можно трактовать как угодно. Как вызов богам. Как манию величия. Как коммерческий риск. Как бесконечную усталость. Наконец, как красивое самоубийство. Выбирай, что тебе нравится.

Пухов молчал. Это была правда, в которой он сам себе не хотел признаваться. Он утешал себя тем, что у него просто не было случая, как следует узнать мирную жизнь в постсоветской России. Он, как соринка на поверхности завихряющейся вооруженной (если можно таковую вообразить) воды, все эти годы перетекал из одной локальной войны в другую. Ему казалось, что жизнь России – война и тлен, но оказалось, что мир и деньги. Вполне возможно, вновь открывшаяся жизнь придется ему по сердцу.

Майор Пухов бестрепетно смотрел на генерала Толстого, ибо отсутствовал на удилище генерала крючок, на который тот мог в данный момент подцепить майора.

Разве что смерть?

Собственная жизнь, впрочем, с некоторых пор не казалась майору безусловной и абсолютной ценностью. Немало людей разных национальностей и вероисповеданий умирали на его глазах. И каждый раз майор как будто проделывал вместе с ними этот, когда простой и легкий, когда сложный и тяжелый, путь. «Да, пока я продаю билеты на станции, – подумал Пухов, – но, видит Бог, я в любой момент готов сам поехать на этом поезде».

– Мы могли бы пуститься в долгую дискуссию о настоящем и будущем российского государства, – усмехнулся генерал Толстой, – поговорить на вечные темы – что делать и кто виноват. Но я опускаю центральную, так сказать, идеологическую часть беседы и сразу перехожу к сути. Суть ведь не в том, майор, что страна предана и разворована, что все тонет в измене и фарисействе, что жизнь прожить – не поле перейти и так далее. Суть в том, майор, что я хочу, чтобы ты поработал во благо России под моим началом, а ты этого почему-то не хочешь. Не хочешь, – продолжил генерал, властным жестом останавливая возражения Пухова, – но ждешь, какие я приведу доказательства своей любви к Родине, а также на какой крючок я буду тебя поддевать, ведь так, майор?

Пухов молчал, размышляя над тем, закончил ли уже генерал париться в баньке или сделал ради беседы с ним, майором Пуховым, перерыв? Если он собирался решить судьбу (майора походя, между заходами в парную на опереточном каком-то, бутафорском (как будто собирались фильм снимать) этаже Лубянки, грош цена была майору Пухову, а также всему тому, о чем он так много и безысходно думал в последнее время.

– Ты очень умен для командира подразделения командос, – разъяснил невысказанное недоумение майора Пухова генерал Толстой, – но, извини, системное мышление – не твоя стихия. Этому не учатся, майор. Это или есть, или нет. Я знавал неграмотных негров и индейцев, которые мыслили системно, и академиков, и генеральных секретарей ЦК КПСС, которые были этого напрочь лишены. Ты сразу допустил две ошибки, майор. Во-первых, пошел не по той дороге. Во-вторых, пошел в тот лес, где не растут деревья, то есть не бывает дров. Стало быть, ты пошел не в лес и не по дрова, ведь так, майор?

Пухов с тоской подумал, что генерал прав. Хотя и не знал, в чем именно прав. Подобное чувство он, помнится, испытывал в школе на контрольных по математике. Решал задачу и казалось – правильно решает, но вдруг закрадывалось сомнение, и Пухов понимал, что нет, не правильно, совершенно не правильно, а главное, уже нет времени, чтобы решить правильно. Страх отсутствия времени был сильнее страха допущенной ошибки. «Что он имеет в виду под словом “дрова”?» – подумал майор.

– Какие ошибки, товарищ генерал? – спросил он. – Я все время молчал.

Ты почему-то решил, что я буду что-то тебе объяснять, выворачивать наизнанку свою или твою душу, одним словом, то ли тебя убеждать, то ли вербовать, то ли покупать. Ты решил, что я пригласил тебя сюда для беседы. То есть что ты сможешь отсюда выйти так, а сможешь – эдак. Что я стану тратить на тебя свое время, не будучи уверенным в конечном исходе разговора. Пухов-Пухов, – укоризненно покачал круглой ушастой в одуванчиковой кайме седых волос головой генерал, – неужели я похож на человека, не дорожающего своим и твоим временем?

По роду своих занятий майору порой, при весьма специфических обстоятельствах, приходилось встречаться с самыми разными людьми на просторах страны, которая когда-то звалась СССР. Он никак не мог взять в толк, отчего среди тех, кто стремился во что бы то ни стало разрушить СССР, а сейчас Россию, было так много сумасшедших? Но не менее удивительным казалось ему то, что столь же высок процент сумасшедших был среди тех, кто во что бы то ни стало стремился сохранить, возродить, воссоздать Россию, а там, чем черт не шутит, и СССР.

– Я знаю, о чем ты думаешь, майор. – Генерал надавил кнопку звонка на черном сталинском столе. Парень в камуфляже внес накрытый кружевной салфеткой поднос с двумя стаканами чая в мельхиоровых подстаканниках. Печенье и конфеты, однако, были не сталинскими и не 2033 года, а самыми обычными – импортными. – Ты думаешь, что я того... – покрутил пальцем у виска генерал Толстой. – Но ты думаешь не только об этом, – добавил он после паузы.

– Вот как? – удивился Пухов. Он ни о чем больше не думал. Генерал его переоценивал.

Чай был хорош. На мельхиоровом подстаканнике майор разглядел выпуклый щит в перекрестье мечей – чекистскую эмблему.

– Ты думаешь об этом, не отдавая себе отчета, – объяснил генерал. – Вообще-то я критически отношусь к психоанализу. Ведь если Бог создал человека по образу и подобию своему, при чем здесь эдипов комплекс и прочие сексуальные кровосмесительные мерзости? Но как сугубо вспомогательный метод исследования бессознательных процессов внутри того, что мы называем высшей нервной – мыслительной – деятельностью индивидуума – Homo sapiens, – психоанализ очень даже уместен, ведь так, майор? – подмигнул генерал Пухову, как бы видя в нем союзника в столь непочтительном толковании психоанализа. – Так вот, майор, ты думаешь не думая, что можешь прямо сейчас встать, послать меня на х... и уйти отсюда прочь. И одновременно ты думаешь, опять-таки не думая, что в самом крайнем случае никто и ничто не сможет тебе помешать взять да и пустить себе пулю в лоб и таким образом отстоять свою свободу. Сущность твоей личности, майор, в пространстве между этими двумя мыслями. Естественно, в расширительном понимании. В расширительном понимании, – повторил генерал Толстой, – но в сжатом под очень большим давлением пространстве, майор.

– Я полагаю, – сказал майор Пухов, – речь идет о том, что в прежние годы называлось компроматом. Да, меня много в чем можно обвинить, но я никогда не проливал лишней крови. Я не могу и не собираюсь отвечать за приказы, которые мне отдавали вышестоящие командиры, в том числе и вы, товарищ генерал-майор Худоногов. Это смешно.

– Ты прав, майор, в современной России понятие компромата аннулировано, как уголовная статья за гомосексуализм. Мне не нравится слово «компромат», сынок. Сразу возникает перед глазами учитель, трахающийся со школьницей, почтенная мать семейства, крадущаяся дождливым вечером под зонтом на свиданку к любовнику, складской прапор, толкающий под покровом ночи грузинам прицелы ночного видения. Речь идет не о компромате, майор. Речь идет о некоей тайне, непостижимой в первую очередь для обладающего ею человека. В данной ситуации он выступает в роли камеры хранения, в которую кто-то кладет что-то запечатанное. Ты спросишь: почему непостижимой? Я отвечу: тайна ступенчата, на каждой ступеньке – свой ответ. Ты, сынок, стоишь на нижней. Хотя, конечно, кое-что и тебе открылось, ведь так? Тайна о себе самом, точнее, каким ты можешь быть в определенных обстоятельствах. Гадалки на картах Руби – они еще называются картами мертвых – называют ее

тайной внезапного превращения. Суть этого превращения заключается в том, майор, что человек как бы забывает себя и, пусть даже на очень короткое время – время одного-единственного абсолютно нелогичного, не вытекающего из его честной прошлой жизни действия, – весь без остатка оказывается во власти зла. Потом он прозревает и как бы даже не понимает, вернее, не хочет понимать, что с ним произошло. На картах мертвых это называется отсроченной смертью души. Тебе интересно меня слушать, сынок?

– Да. Хотя я не понимаю, какое, собственно, это имеет ко мне отношение?

– Не гони коней, майор. Что означает отсроченная смерть души? Единого мнения на сей счет нет, но большинство специалистов склоняются к тому, что человек, с которым сие случилось, как бы отомкнул в себе врата ада. Вроде как ходит с некоей невидимой печатью на лбу. Может в относительном покое дожить до глубокой старости, но может и быть востребованным тем, кто ему устроил это превращение. Капитан Сергеев, сержант Арцеулов, старший лейтенант Борисов, – совсем другим голосом, монотонным, как в церкви или на похоронах, произнес генерал.

«Ну да, – подумал Пухов, – меня же допрашивали, записывали на пленку».

Он как будто вновь пережил поразительное ощущение пока еще живого и полного сил человека, но обреченного не на мифическую карточную, а на самую что ни на есть реальную отсроченную смерть: души и тела, какую испытал семь лет назад посреди пустыни в трехстах километрах от ближайшего населенного пункта – города Азамхана. Пухову, предавшему мертвых товарищей земле, вернее, раскаленному песку, казалось, что он наедине с Господом, такая вокруг стояла тишина. Пухов не сомневался, что умрет от солнца и жажды. Но через четыре дня его, полубезумного, падающего и идущего, случайно увидели с советского вертолета. Вертолеты отродясь не летали над безжизненными пересохшими руслами к юго-западу от Кандагара. Этот сильно отклонился от курса, огибая песчаную бурю.

Пухов бестрепетно выдержал тяжелый, холодный и неподвижный, как у отслеживающего жертву плотоядного ящера, взгляд генерала Толстого.

В пустыне не было живых людей, кроме майора Пухова и того, кто присутствует везде. «Он не может предать, – вдруг подумал майор Пухов, – даже если...»

– Не льсти себе, майор, что все в мире, в том числе и преступления, свершается по воле Господа, – понятно и просто, как будто это была его мысль, закончил мысль Пухова генерал. – Воля Господа, как озоновый слой в атмосфере, слабеет, истончается, и тогда случается то, что случилось в пустыне, майор.

– Насчет воли Господа, товарищ генерал, – медленно произнес майор Пухов, – каждый решает по собственной вере. Не воля Господа истончается, товарищ генерал, но вера людей в Господа.

– Не упрощай, майор, – покачал генерал круглой головой в венчике седых волос, – не надевай на плечи Господа погоны с большими звездами. Бог был не с тобой, – пропел он странным каким-то шепотом, – а с теми, кого ты сначала забил, как дичь, а затем запек в песке, как в микроволновой печи. Природа тайны внезапного превращения непознаваема и иррациональна, – продолжил генерал, – как, собственно, все, уходящее корнями туда. – Перевернутым большим пальцем он указал, куда уходят корни – в натертый до блеска паркет. Хотя имелся в виду, естественно, не натертый до блеска паркет в музейном крыле ДФБ. – Ее иррациональность хотя бы уже в том, что о ней обязательно кто-то рано или поздно узнает. Кто-то еще, помимо человека, с кем превращение произошло. Каким-то образом узнает во всех подробностях и даже больше, хотя живых свидетелей нет. Я назову тебе цифру, сынок, – семьдесят семь. Ровно семьдесят семь.

С самого начала операции Пухова (тогда он звался капитаном Петровым) не оставляло ощущение, что их ведет невидимая чужая воля. Перед группой стояла довольно сложная задача. Но вчетвером они справились с ней играючи.

Путешествие в Пакистан на берег Аравийского моря, где и уединенном местечке среди пальм и скал находилась вилла пакистанского полковника, занимающегося в военном министерстве электронной разведкой, превратилось в приятную прогулку. Виллу охраняли пять десантников из элитной бригады «Черный аист». Пухов с ребятами убрал их без труда. Двух – на теннисном корте. Одного – в сторожевой будке как раз через мгновение после того, как он по причине наступления утра отключил ночную сигнализацию. Четвертого – в бассейне. Пятого – в гараже. Полковник сладко спал, когда Пухов поднялся к нему на второй этаж в спальню. Майор отправил его на тот свет из пистолета с глушителем, не беспокоя. Ему не хотелось трогать спящую рядом с полковником красивую полную гурию с крашенными хной волосами и выбритыми (за ночь, впрочем, уже проступили черные точки) подмышками, но подстраховывавший

его сзади сержант Арцеулов автоматически запечатал ей рот рукой, как кувшин восковой печатью, другой же рукой положил поверх ее лица подушку, как прикрыл крышкой кастрюлю.

Все шло слишком уж легко. Группа скользила сквозь чужую враждебную страну, как удачно подобранная отмычка в смазанном замке.

Они продвигались к афганской границе на джипе с иранскими номерами – сначала малоезженными проселками, затем по пустыне. Углубившись в родной Афганистан километров на сто, остановились отдохнуть у подножия крепости. Борисов прихватил из полковничьей кладовой виски и закуску. Они отметили успешное окончание операции, хотя обычно такие операции не только не отмечали, а, напротив, старались как можно быстрее забыть.

Если бы капитан Сергеев случайно не взялся за рацию, они бы через несколько часов были на своей базе на берегу полупересохшего мутноводного – в зарослях лотоса, с трясущими мешками-клювами белыми пеликанами – Гильменда. Но Сергеев поймал вышедший на связь караван, тут же определил по карте его местоположение – сто пятьдесят километров к юго-востоку, а также направление движения – Пакистан. Если бы они не приняли на грудь минимум по семьсот пятьдесят виски и если бы их не переполняла не знающая удержу победительная сила, сгубившая в Афгане (да и не только в Афгане) столько русских мужиков, они вряд ли решились бы на отчаянное предприятие – вчетвером после тысячекилометрового броска взять еще и неизвестно как вооруженный, неизвестно чем груженный, к тому же идущий против обычного направления движения караван.

Но роковое решение было принято.

Чужая воля, как пушинку с груди пеликана, несла их джип с иранскими номерами по барханам навстречу каравану. Пухов не сомневался, что они возьмут его легко и просто, как брали до этого десятки богатых и бедных – с анашой, оружием, телевизорами, электроникой, спутниковыми антеннами, кожаными куртками, курагой, презервативами, изюмом, русскоязычными проститутками и ни с чем – караванов.

– Семьдесят семь? – пожал плечами Пухов. – Там было море огня, товарищ генерал.

– Я знаю, сынок, – улыбнулся генерал Толстой. – Но то, о чем мы говорим, не утонуло в море огня.

– Наш разговор беспредметен, – поднялся с жесткого стула Пухов. – Я не понимаю, о чем идет речь. – Шагнул к двери, но в дверях сразу встали двое в камуфляже с короткими автоматами. – Стреляйте, – пожал плечами майор, – режьте на ремни. Если вам будет от этого легче.

– Посиди еще немного, – попросил генерал, – мы скоро закончим. Ты изучал физику, ведь так, майор? Стало быть, прекрасно знаешь, что ничто в мире, в особенности такое число, как семьдесят семь, не возникает само по себе и не может кануть неизвестно куда. За всем, в особенности за числом семьдесят семь, что-нибудь да стоит. Мне потребовалось время, чтобы установить, что Петров, Греков, Сулейманов, Дарченко – это все ты, майор Пухов. Сведения о тебе закодированы тремя паролями в файлах высшей степени секретности. Там, где описание технологии получения золота искусственным путем и данные об инопланетянах. Тебя считали достоянием государства, сынок, – как показалось Пухову, с некоторой обидой в голосе произнес генерал Толстой.

– Что сейчас с этими файлами? – поинтересовался майор. – Какая, интересно, сволочь распродает их направо и налево?

– Все это время ты жил бедно, как церковная мышь, – словно не расслышал его генерал. – Я уже почти поверил в море огня, был близок к тому, чтобы закрыть дело за отсутствием вещдоков и просто доков. Если бы не твой шоп-тур в Эмираты два месяца назад, майор. Я узнал о нем совершенно случайно. Ты полетел из Ашхабада по турецкому паспорту, но взял гулийскую фамилию, чтобы не обращали внимание на акцент. Служба безопасности Эмиратов передает нам сведения обо всех гулийцах, проходящих через их аэропорты. Из Дубаи ты вылетел в Кандагар, майор. Я получил ксерокс с билета и твою фотографию, господин Шамсутдин Гайрабеков, научный сотрудник исторического музея и Измире. Ты нашел семьдесят семь там, где их оставил, ведь так, сынок? Ты взял их с собой. Где ты их сейчас держишь, майор? Я жду. Ты, кажется, говорил о море огня...

Пухов не стал повторяться, поэтому генерал Толстой продолжил:

– Собственно, дело уже не в семидесяти семи. Я оцениваю твои заслуги перед Родиной выше. Дело в том, что стояло за семьюдесятью семью, на что они должны были пойти. Ты стронул лавину, майор. Она ищет тебя. Вернее, уже нашла. Я тебя нашел. Но кое-что еще можно поправить.

– Я готов выйти ей навстречу, – во второй раз поднялся с жесткого сталинского стула майор. – Как говаривали библейские герои, товарищ генерал, вот он я!

– Эта лавина, как разгневанный Бог Отец, сотрет с лица земли весь твой род, – просто ответил генерал, – всех, кто когда-то был тебе дорог и близок. Она пойдет по твоим следам: именам, фамилиям, адресам – по всему, что есть в тех файлах. А там есть то, о чем даже ты сам понятия не имеешь. Что, к примеру, ты можешь сказать о девочке по имени Оля, которую шесть лет назад родила в Омске спортсменка-волейболистка? Кажется, ее звали Рита, ведь так, майор?

– Вы хотите, чтобы я вернул вам пепел? – спросил майор. – Пепел со дна моря огня. Тогда берите меня, товарищ генерал.

– Все, что я хочу, – произнес генерал Толстой, – чтобы вы послужили Родине, майор Пухов, именно тогда, когда она сильнее всего в вас нуждается! – Вдруг встал из-за стола, поправил сползающую на плечо кожаную куртку с неуместной эмблемой «U.S. Air Force». – Вместе со мной. А пепел... Чем еще платят нам за любовь к Родине, ведь так, майор? Только пеплом.

...Пухов до того сосредоточился на созерцании скорострельного немецкого пистолета с оптическим прицелом «Fovea» и на давних (тоже как бы с оптическим прицелом) воспоминаниях, что не заметил, как пошел снег. Земля, небо, озеро за окном исчезли в вихревом мельтешении снежинок. Майор в отставке, а ныне начальник службы безопасности финансово-промышленной группы «Дровосек» связался из своего номера по рации с охранниками, дежурившими в холле, велел им оставить открытым только один из трех входов в корпус, где жил глава крупнейшей в России финансово-промышленной группы «Дровосек» – молодой человек по фамилии Дровосек. Снегопад свел видимость к нулю, и недоброжелатели (а их у Дровосека было немало) вполне могли приблизиться к неохраняемым входам под покровом первой в этом году метели.

Положив пистолет в кобуру, неразличимую в складках широкой спортивной куртки, майор в отставке Пухов решил лично проведать шефа, но тут стали

передавать новости, и он на несколько мгновений задержался у транзистора. Новости были скверные. Гулийские регулярные войска (в зависимости от ситуации их называли бандитами, сепаратистами, бойцами, незаконными вооруженными формированиями) совершили нападение на станицу Отрадную Бердянского района Ставропольского края. Действуя по отработанной схеме, они согнали в здание больницы заложников, выставили их в качестве живого щита у окон и предъявили стандартный ультиматум (признание независимости и вывод российских войск из самопровозглашенной Республики Гулистан в обмен на жизнь заложников) федеральным властям. Случайно оказавшийся на месте трагедии корреспондент агентства «Рейтер» Хопкинс отметил беспрецедентную жестокость, с которой действовали террористы в отношении лиц славянской национальности. Так, одинокую пожилую женщину, живущую в последнем доме по улице Карла Либкнехта, они буквально изрешетили пулями прямо на крыльце за то, что она замешкалась в исполнении требования немедленно присоединиться к колонне заложников, гонимых, как стадо злыми пастухами, по направлению к больнице.

Пухов выключил транзистор. Зачем-то вытащил из кобуры, снял с предохранителя скорострельный с оптическим прицелом пистолет «Fovea». Свинтил оптический прицел.

В ближайшие дни он предполагал стрелять по близким целям.

Дело заключалось в том, что одинокая пожилая женщина, жившая в станице Отрадная Бердянского района Ставропольского края в последнем доме по улице Карла Либкнехта, вовсе не замешкалась в исполнении требования террористов немедленно присоединиться к колонне заложников. Она просто не слышала этого требования, потому что была глухонемая. Майор в отставке Пухов знал это совершенно точно, потому что изрешеченная пулями на крыльце своего дома одинокая пожилая женщина была его матерью.

Глава С

Вот уже третий год Россия вела войну против горного, входящего в ее состав, но провозгласившего себя независимым мятежного государства Гулистан, во главе которого, как и положено в военное время, стоял – единственный в истории

крохотного народа – генерал-гулиец бывшей Советской армии (стратегической авиации, ВВС) Каспар Сакгаганов.

Еще находясь на срочной службе в ВДВ, Пухов сделал любопытное наблюдение, что есть головы, на которых пилотки сидят как влитые, а есть – на которых, несмотря на все ухищрения носителей, разъезжаются, начинают напоминать столь часто обсуждаемую и поминаемую в войсках часть женского тела. На генерале Сактаганове, когда он появлялся на экране телевизора с очередным безумным заявлением (а он, в силу симпатий, испытываемых к нему российскими журналистами, появлялся там необъяснимо часто для отлавливаемого мятежника, государственного, объявленного во всероссийский розыск преступника), любой наряд: камуфляжная куртка, свитер, кожаная безрукавка, даже японское кимоно (генерал увлекался карате) – сидел пригнанно и ладно, и только пилотка разъезжалась, как... То, что генерал, появляясь на публике, с маниакальным упорством каждый раз надевал на голову пилотку, лишней раз свидетельствовало, что ничто так не влечет, не беспокоит человека, как то, в чем ему по какой-то причине отказано природой или судьбой. Пусть даже это такая мелочь, как красиво сидящая на голове пилотка.

Дровосек, конечно же, обеспечил начальника своей службы безопасности спутниковой связью. Спускаясь по застланной потертым ковром лестнице пансионата «Озеро» на второй этаж, где находились апартаменты шефа, Пухов вышел на внутренний коммутатор Минобороны, услышал голос бывшего сослуживца. Тот нынче был в немалых чинах, считался старшим от Минобороны в такой экзотической межведомственной организации, как Федеральный центр по борьбе с терроризмом. Не давая ему вспомнить, что он полковник на генеральской должности, а Пухов – никто, майор напористо, по-командирски осведомился, как быстро он сможет попасть в станицу Отрадную. Тот ответил, что через час сорок из Чкаловска в Бердянск вылетает самолет-госпиталь. «Зачем тебе туда? – Бывший сослуживец все-таки вспомнил, кто сейчас он и кто сейчас Пухов. – Там стреляют, а ты, богатый человек, охраняешь жирного клопа, который пьет нашу кровь. Откуда звонишь, майор, из сауны, казино или бардака?»

Пухов хотел сказать ему про мать, но не сказал. Он никогда никому ничего не говорил без крайней на то необходимости. Пока майор еще не решил, существует ли необходимость делиться с кем бы то ни было информацией, что его глухонемая мать изрешечена гулийскими пулями на крыльце собственного дома по улице Карла Либкнехта в станице Отрадная Бердянского района

Ставропольского края. Не то чтобы майор никому не доверял. Вопрос доверия в повестке дня вообще не значился. Майор давно – с самой первой своей самостоятельной операции на границе Анголы и Намибии – жил и действовал вне такого умозрительного критерия, как доверие к отдельному ли конкретному человеку, ко всему ли мнимо приверженному идеям гуманизма человечеству.

Он твердо знал, что в любой касающейся лично его информации заключен некий сокровенный смысл (детонатор), в перспективе не сулящий майору ничего, кроме взрыва. Следовательно, неразумно было делиться с кем бы то ни было какой бы то ни было информацией, хотя бы до первичного проникновения (определения класса заложенного взрывного устройства) в этот смысл.

«Ты не поверишь, – сказал, впрочем, Пухов бывшему сослуживцу истинную правду, – но я собирался купить там себе дом. И самое печальное, – вздохнул он, – внес задаток. Не в курсе, нотариальная контора на улице Либкнехта цела?» – «Если они сегодня оттуда не уйдут, там вряд ли останется хоть один целый дом, – заметил собеседник. – Там происходит что-то странное... – Он замолчал. – Темнилово гонишь, майор. Дом, задаток... За фуфло держишь? Я тебя вписываю в полетный лист. Хочешь, официально прикомандирую как спецсоветника? Получишь командировочные, как в горячей точке. Хотя что для тебя наши командировочные? Так, на пиво... Туда сейчас все начальство летит, как с цепи сорвались. Я позвоню на этот летающий госпиталь, чтобы без тебя не трогался». – «Не горячись. Пусть летят по расписанию, не ждут, если опоздаю. – Стопроцентная ясность тут тоже отнюдь не требовалась. Майор давно усвоил, что чем меньшему числу людей известно, где он в настоящий момент находится и что делает, тем лучше. – Еще одна оказия намечается». – «Не п... Район вкруговую закрыт. Даже если сам на МиГе полетишь, собьют, – не поверил бывший сослуживец. – Слушай, майор, сколько тебе платит этот твой... как его... Дровосос? Кровосек? Начфин, сука, в его банк наши пенсионные деньги запихнул. Скажи ему: зажмет, – ему не жить, нам терять нечего!» – «У меня есть вакансия, – сказал Пухов. – Приходи, узнаешь, сколько платит». – «Лучше пулю в лоб, чем выносить горшки за этой мразью!» – с чувством произнес бывший сослуживец. Зачем им Отрадная? – быстро спросил майор. – Там же ничего нет». – «А больница? – возразил собеседник. – Новое родильное отделение пристроили». – «Кто?» – наконец задал Пухов последний и самый важный вопрос. «Что-то ты пропал, – встревоженно произнес полковник на генеральской должности, хотя слышимость оставалась великолепной. – Напомни-ка номеришко твоего пейджеришки?» Пухов напомнил номеришко пейджеришки, и через мгновение на экранчике появилось короткое слово: «Нур».

Нурмухамед был руководителем разведки и контрразведки, службы безопасности и личной охраны президента Гулистана генерала Каспара Сактаганова. Нурмухамед считался самым верным и приближенным к президенту Гулистана человеком. Если операцией командовал он, значит, рейд на станцию Отрадную был личным военным предприятием президента Республики Гулистан генерала Каспара Сактаганова.

Это в корне меняло дело.

Майор вдруг поймал себя на мысли, что вот уже минут десять – не меньше – он знает о смерти матери, но в глазах у него до сих пор ни единой слезинки, а в голове отсутствует план действий. Пухов давно научился контролировать и сдерживать поднимающуюся волну горя. Слишком часто горе заставляло его в моменты, когда приходилось тратить все сохранившиеся (и даже сверх того) силы на то, чтобы самому уцелеть, остаться в живых. Он знал по собственному опыту, что самое лучшее в данном случае предоставить мыслям течь как им заблагорассудится. Знал майор и то, что первый, с ходу родившийся план действий, как правило, оказывается ошибочным. Как, впрочем, и второй, третий. Но наиболее ошибочным, абсурдным, неисполнимым в конечном итоге предстает правильный, истинный, единственно возможный план действий. Какой придется воплотить в жизнь именно потому, что всем очевидна стопроцентная его неосуществимость. Майор пока понятия не имел, что это за план.

Перед глазами у него возникло узкое, как кувшин, белое, как свеча, лицо генерала Сактаганова, прямые, короткими черными стрелами падающие из-под пилотки волосы. У ставшего президентом генерала довольно быстро выработалась манера говорить отрывисто, резко и скупое. Слова, которые он произносил, были словами сражающегося вождя. Даже когда он говорил о том, что хочет закончить войну или отпустить русских пленных, его слова, лицо, разъезжающаяся на голове пилотка излучали угрозу.

Когда Пухов впервые увидел генерала – далеко от Гулистана и России, – тот совершенно не производил впечатление будущего вождя. Генерал тогда был бесконечно одинок и, несмотря на то что пытался держаться с достоинством, казался сломленным. Он признался Пухову, что за долгие годы службы в различных русских городах сильно подзабыл родной язык, на котором разговаривал только в детстве, когда жил с родителями в Киргизии, в ссылке. Пухов поинтересовался, ходит ли он в мечеть. Генерал ответил, что не знает, есть ли здесь вообще мечеть. За свою жизнь он всего два раза переступал порог

мечети. Один раз в Киргизии с дедом, другой – в Сирии, где побывал в конце семидесятых в составе военной делегации.

«Задерем подол матушке Руси», – будто бы с удовлетворением произнес в начале тридцатых, включая рубильник взрывного устройства, подведенного под храм Христа Спасителя, сталинский нарком Лазарь Каганович. Майору Пухову было не отделаться от ощущения, что куда нагляднее и похабнее задрал матушке Руси подол во второй половине девяностых бывший советский генерал Каспар Сактаганов. Его люди захватывали и сгоняли заложников именно в больницы с родильными отделениями, то есть вторгались в места, где свершалось сакральное таинство существования народа, а именно рождались, умирали, а иногда и выздоравливали люди. Нечистый абрек в родильной палате – это было хуже, чем простое изнасилование. Бородатые, перепоясанные пулеметными лентами, в лохматых шапках бойцы генерала Сактаганова – «генерала Сака», как его называли в России и на Кавказе, – как бы прикасались враждебными руками к святой святых, проникали на самую священную, запретную и по идее недоступную для чужих глаз (не говоря о других частях тела) территорию народа – территорию синтеза и воспроизводства. Бойцы генерала Сака, стуча ботинками и сапогами, играя длинными зазубренными ножами, грозно похаживали меж перепуганных беременных и уже родивших русских баб в косыночках, кутающихся в сиротские халатики. Большого оскорбления народу (в особенности его мужской части) нанести было невозможно. Это было иго в миниатюре. Или эскиз грядущего ига.

Обычно допускаемые к воинам генерала Сака журналисты – они признавали за таковых только людей с видеокамерами и микрофонами – говорили суровым бородатым борцам за свободу разные льстивые вещи, полностью разделяя их презрение к «живому щиту» – машущим белыми полотенцами из окон роддомов, а затем из окон автобусов, воющим от страха и тоски русским бабам. Только раз на памяти Пухова въедливый японец поинтересовался у захватившего очередной роддом полевого командира: «Русский народ очень большой. Вы не боитесь, что он вам отомстит?» Командир в бешенстве посмотрел на крохотного невозмутимого японца. Но шел прямой эфир. Он ответил: «Народ, который прощает свое правительство за то, что мы с ним делаем, не способен не только осмысленно мстить, но вообще держать в руках оружие. Я не знаю, кто сильнее презирает русских – мы или их собственное правительство».

«В России нет мужчин», – любил повторять генерал Сак, поправляя на голове разъезжающуюся пилотку.

Однажды Пухов подумал, что, быть может, президент Республики Гулистан мстит России за то, что она призвала его на военную службу, выучила в Академии Генштаба, позволила дослужиться до генерала, наконец, надела ему на голову эту самую непокорную пилотку? Что ж, он добился своего. При звуке его имени у беременных баб по всему Югу России разъезжались пилотки, и они рожали недоношенных, перепуганных уже во чреве, как и положено при иге, младенцев.

Вот только у самого гулийского народа при тех темпах истребления, которые задал ему в войне против хоть и изрядно ослабевшей, но все же тысячекратно превосходящей его землей и людьми России национальный герой генерал Сактаганов, не было ни малейших шансов сохраниться до полной и окончательной победы над противником.

Пухов вполне допускал, что для многих гулийцев эта война является освободительной. Для России же гулийская война стала примерно тем же, чем была в свое время война Древнего Рима против нумидийского царя Югурты. Война против Югурты расценивалась современниками и историками как едва ли не высшая точка позора, низшая точка падения республиканского – демократического – Рима. Нумидийский царь цинично и особенно даже не таясь подкупал сенаторов, военачальников, влиятельных римлян. Война до крайности истощила казну государства, но никак не могла закончиться. Прославленные римские легионы раз за разом оказывались бессильными против партизанских банд нумидийского царя. В конце концов Югурту пленили, но до гласного разбирательства причин и следствий дело не дошло. Царя задушили в тюрьме. В Риме началась гражданская война.

Для России как государства, по мнению майора Пухова, гулийская война являлась растянувшимся во времени следствием достаточно часто встречающейся в истории тотальной измены верхов. Для народа – наказанием за то, что каждый конкретный, отдельно взятый гражданин мало любил свою Родину, то есть каждый – и майор здесь не считал себя исключением – носил в душе черное пятнышко измены. Измена всегда более податливых к ветру времени верхов, в сущности, не была для народа неожиданностью. Народ сам толкал верхи к измене, предъявляя на молекулярном (отдельной личности) уровне претензии к Родине, которую в лучшем случае держал за злую тещу, но никак не за мать. И сейчас продолжал терпеть измену – тотальное разрушение всех основ, управление государством методом уничтожения государства – верхов, потому что на уровне коллективного бессознательного понимал: измена

верхов есть следствие измены низов, то есть самого народа, в очередной раз предавшего собственное государство. Это наглядно проявлялось хотя бы в том, с какой страстью народ смотрел издевающееся над ним, ненавидящее его телевидение; как охотно в метро, на скамейках в парках – одним словом, везде читал труды автора с неслучайным псевдонимом «Суворов», утверждавшего совершенно неправдоподобные вещи вроде того, что русские солдаты в 1945 году в Германии ели живьем немецких грудных детей, в то время как немцы в 1941 году в России не щадили себя, защищая и оберегая глупых русских от их собственной дикой армии; как многочисленно голосовал на довыборах то ли в Государственную думу, то ли в Совет Федерации за малопрстойную душевнобольную женщину, позирующую фотографам на фоне плаката «Смерть русским свиньям!».

Пухов, впрочем, относился к этому достаточно философски, потому что в иных местах планеты видел вещи и похуже. Но не сомневался, что именно комплекс вины народа за собственное предательство (самопредательство) есть основная причина необъяснимой выживаемости неестественных, приносящих народу много бед и страданий режимов.

Так было в России в 1917 году.

Так повторилось в конце века.

И только на втором этаже пансионата «Озеро», возле апартаментов молодого человека со странной фамилией Дровосек, до Пухова окончательно дошло: матери больше нет!

А он был уверен, что она, никому не сделавшая в жизни зла, бесхитростная, бессловесная и добрая, будет жить вечно. Во всяком случае, переживет его – своего сына – майора Пухова. Он много раз говорил ей об этом, но она не соглашалась, качала головой. Промелькнула странная какая-то мысль, что сейчас он совершенно беззащитен, взять его легче легкого.

Майор рванул на себя ближайшую дверь. К счастью, в номере никого не было. В комнате на столах стояли компьютеры с большими (для цветной графики) мониторами, на стенах висели рекламные плакаты. Над компьютерами, плакатами, фломастерами, живыми и синтетическими цветами плыл тончайший запах духов – терпкой жимолости, как будто смешанной с табачным дымом

изысканного сорта сигарет. Это была комнаты Леночки Пак – имиджмейкера, начальницы отдела рекламы финансово-промышленной группы «Дровосек».

Коротко, по-волчьи взыв, майор обрушил кулаки на ни в чем не повинную стену. Бетонная стена выдержала удар. Пухов не чувствовал боли. Вместо плаката с изображением садящегося солнца, косо пересекаемого клином уток в виде слова «Дровосек», Пухов вдруг увидел глаза матери и на мгновение растворился в этих глазах, как растворялся в них всегда, обнимая мать после долгой разлуки сначала в барачной квартирке на окраине Бердянска, потом в просторном доме в станице Отрадная, куда он ее перевез несколько лет назад. Мать разговаривала с ним глазами. Она почему-то не любила языка глухонемых, хотя Пухов владел им в совершенстве.

Он не знал своего отца. Мать воспитала его одна. Позже Пухов услышал о синдроме женского воспитания. Если мальчик растет без отца, то будто бы вырастает слабым духом и волей. Пухов вырос без отца с глухонемой матерью, не поднимавшейся по служебной лестнице выше уборщицы и посудомойки в столовой райкома профсоюзов. Она не уставала объяснять теряющему иной раз нить смысла жизни сыну, что главное в жизни – достоинство, мужество и справедливость. И еще сила. Большинство глухонемых были физически очень сильными людьми. И Пухов тренировался в их секциях, усваивая приемы, о которых не знали нормальные, не обделенные природой люди. В барачном пригороде, где каждый второй парень к семнадцати годам шел на свой первый срок, на похаживающего в библиотеку Пухова смотрели как на опасного психа. Он был очень молчалив, потому что мать была уверена, что человеческая речь – великая ценность и, следовательно, нечего попусту тратить слова. Мать научила Пухова презирать нищету, в которой они жили, побеждать ее аккуратностью и чистотой. Она столько стирала, что ее руки, казалось, должны были раствориться в мыльной воде. Ни один мужчина – говорящий или глухонемой – не переступал порог их дома. Мать плакала от счастья, когда Пухов приехал к ней в золотых лейтенантских погонах после окончания Рязанского училища ВДВ. Ее огород в Отрадной был лучшим в станице. Как белье в мыльной пене под ее руками отстирывалось исключительно чисто, так и овощи на ее земле вырастали крупнее и вкуснее, чем у других.

Всю жизнь мать любила читать. Она, естественно, разбирала по губам разговорную речь, но так и не решилась, в отличие от многих глухонемых, не слыша себя, заговорить. Писала письма сыну без единой ошибки, какими-то старинными, возвышенными, религиозными оборотами. Пухов читал ее письма, и

ему не верилось, что их писала женщина, всю жизнь проработавшая уборщицей и посудомойкой. Она очень переживала, когда от него ушла жена, но еще больше переживала, что у него не было детей. Жена Пухова делала вид, что боялась, что у них родится глухонемой ребенок, мол, это повторяется через поколение, но на самом деле она просто не хотела детей. Пухов вдруг подумал, что за все время, сколько он себя помнит, мать ни разу ни о чем его не попросила, ничего от него не потребовала.

Она долго отказывалась переезжать из барачной квартирки в Бердянске в дом в Отрадной, куда Пухов подвел канализацию и горячую воду. Этим летом он собирался поставить на участке сауну. Деньги, которые он присылал, мать не тратила, а немедленно переводила на завещанную ему же сберкнижку. Последний раз Пухов навестил ее три месяца назад после «тура», как выразился генерал Толстой, в Эмираты и далее. Мать, помнится, все время опускала глаза, а когда он уезжал, взяла его за руку и на руку ему капнула ее горячая слеза.

И сейчас на руке майора горела невидимая слеза. Пухову показалось, что благоухающий воздух в комнате имиджмейкера и художницы Леночки Пак как будто начал плавиться, очертания больших (для цветной графики) мониторов, плакатов, фломастеров и серебристых ламп вдруг сместились, отвязались от собственной сущности, куда-то поплыли.

Последний раз майор плакал много лет назад в пустыне. Тогда воздух точно так же плавился и точно так же сместились, поплыли, отвязались от собственной сущности очертания черных пылевлагожаронепроницаемых сумок-контейнеров.

Мысль, что его мать лежит изрешеченная пулями на крыльце собственного дома – последнего по улице Карла Либкнехта, показалась майору непереносимой. Перед глазами снова возникло узкое, как кувшин, и белое, как свеча, в разъезжающейся пилотке лицо генерала Сактаганова.

«В России нет мужчин», – любил повторять генерал Сак.

«В России есть мужчины, Каспар, – мысленно возразил ему майор Пухов. – И ты, вернее, вы все скоро в этом убедитесь».

Но прежде следовало увидаться с Дровосеком. Любую работу, даже такую (в понимании прежних сослуживцев Пухова лакейскую), как работа телохранителя, майор исполнял ответственно и добросовестно. Он собирался на некоторое время покинуть своего шефа. Это следовало обговорить. Необходимо было позаботиться о том, чтобы охрана тела Дровосека продолжалась в заданном ритме, то есть надежно и интенсивно.

Возглавив службу безопасности крупнейшей в России финансово-промышленной группы «Дровосек», Пухов уволил прежних – заживевших – и набрал новых, ловящих мышей ребяташек. Люди на подобной работе портились довольно быстро по причине излишней близости к охраняемому телу. Им невольно закрадывалась в голову мысль вроде: а чем я, собственно, хуже; почему ему миллиарды (все), а мне – жалкие тысячи (ничего); разве он сильнее, честнее, а главное, умнее меня; за что ему такая везуха? Людей у тела следовало менять до того, как подобные мысли пускали в их головах глубокие корни. В противном случае тело сильно рисковало.

Прежде за спиной майора Пухова стояла (пусть только на словах, номинально) мощь государства. Он был всего лишь опережающим эхом его неотвратимой, в смысле достижения, поставленной – не важно правильной или нет – цели. Государство, как статуя Командора, шло по следам майора Пухова. Отныне за ним не стояло, не шло следом ничего. Поэтому ему был нужен Дровосек с его миллиардами, изобретаемыми Леночкой Пак рекламными телевизионными клипами, стендами и плакатами, с его загадочной, существующей вопреки всем мыслимым и немыслимым законам и правилам финансовой империей, метастазы-отделения которой вспухали, надувались и лопались как мыльные пузыри в разных городах страны. Постоянно меняющая очертания, ускользающая от вкладчиков и налоговых инспекторов, какая-то нереальная (случалось, что миллиарды по коротким кредитам перегонялись, обрастая по пути следования, как шерстью, процентами из Южно-Сахалинска в Калининград и обратно в точном соответствии с часовыми поясами страны, поспевая на счета к открытию местных банков и покидая их с окончанием рабочего дня) империя Дровосека стопроцентно (на практике) подтверждала американскую мудрость, что время – это деньги. Напоминающая (если бы только не периодические самоубийства директоров и слезы вкладчиков) бродячий цирк, висящего в воздухе слона на паутинных ногах с картины Сальвадора Дали, империя Дровосека была той самой шапкой-невидимкой, натянуть которую на свои

торчащие уши собирался майор Пухов. В государстве Россия он был достаточно известен и заметен для узкого круга лиц, принимающих решения в отношении дальнейшего пребывания на белом свете других лиц. В государстве Дровосека – ничтожен и неразличим.

Ибо не имел прямого отношения к деньгам.

Рекламы финансово-промышленной группы «Дровосек» – АО «Дровосек», банка «Дровосек», холдинга, страховой, трастовой компаний и т. д. (игра русских и латинских букв была гениальной выдумкой имиджмейкера Леночки Пак) – украшали города и веси России. Но особенно густо по части Дровосека (как будто он вознамерился срубить ее под корень) было в Москве. Леночка убедила шефа, и тот за огромные деньги перекупил у мэрии рекламное пространство над крышами домов на Тверской напротив знаменитого памятника Пушкину. Теперь вместо всем надоевших (и как утверждалось в патриотической ориентации газетах, оскорбляющих дух великого поэта) «Coca-Cola» и «Philips» там красовалось: «Дровосек – наше все».

Майору Пухову случалось по служебной необходимости (скажем, во время оформления сделки по купле-продаже чего-нибудь, в основном земельных угодий, когда он выступал доверенным лицом) заглядывать в паспорт своего шефа.

Вне всяких сомнений, в России второй половины девяностых годов XX века молодой человек со странной фамилией Дровосек мог многое.

Скажем, расчищать по ходу следования своего кортежа из пансионата «Озеро» в офис на Смоленской площади правительственную трассу – Кутузовский проспект. Впереди шел бронированный «Вольво-960» с мигалкой, следом основной – восьмицилиндровый – «Мерседес-621» с круглыми, точнее, овальными – на водяной подушке – фарами, по бокам два черных, как ночь в преисподней (если, конечно, там всходит и заходит солнце), джипа с вооруженной всеми видами легкого и среднего стрелкового оружия охраной.

Или взять да купить с потрохами (помещением редакции, имуществом, сотрудниками и т. д.) некогда официальный правительственный иллюстрированный журнал, вырезками из цветных вкладок которого когда-то украшали стены квартиры в блочном доме в Воронеже его родители. Дровосек,

впрочем, через пару недель потерял всякий интерес к своему неожиданному приобретению. Лена Пак быстро и, что удивительно, почти не меняя сотрудников, перепрофилировала бывший правительственный официоз в мягкое интеллигентное эротическое издание, рекламирующее нижнее женское белье.

Или, как некогда царь Иоанн Грозный, объявить по России и странам ближнего зарубежья конкурс красоты среди девушек восемнадцати – двадцати пяти лет, чтобы (это был главный приз) сочетаться с победительницей законным браком. Занявшим второе и третье места красавицам обещались умопомрачительные денежные премии. Насчет законности, впрочем, Пухов сомневался. За свою не столь уж длинную жизнь Дровосек уже был трижды женат. С первой женой он официально (с соблюдением юридических формальностей) развелся. С двумя же последующими в настоящее время не жил, но и развестись не мог – на них (точнее, их документы) была оформлена кое-какая недвижимость в России и Швейцарии. Тем не менее конкурс красоты «Невеста Дровосека» пользовался огромной популярностью у девушек не только бывшего СССР. Почему-то валом шли письма с фотографиями и анкетами от девушек из далекого Сенегала и не менее далекого и к тому же занятого гражданской войной Сомали. «Не могу понять, – заметил как-то Дровосек, с удовольствием рассматривая фотографии обнаженных чернокожих красавиц, – почему спит Ботсвана? Где заманчивые предложения из Нигерии и Нигера?»

Одного только не мог (или руки не доходили) Дровосек – поменять в паспорте свои фотографии. На первой – в шестнадцать лет – у него была косая челка, свежий шрам (особая примета) на щеке, взгляд паренька, чьи дни на свободе сочтены. Но что-то (к счастью для Дровосека) нарушилось в судьбе. На второй фотографии – в двадцать пять – у Дровосека было волевое, хотя и слегка растерянное, сжатое в кулак лицо человека, убереженного от зоны, но брошенного в относительно новое (связанное едва ли не с большим риском, чем жизнь в зоне), еще не очень понятное для него самого дело.

Майор Пухов доподлинно знал, что это было за дело.

Оказавшись на короткое время (прежнего застрелили, нового пока не назначили) держателем общака местной братвы, Дровосек на свой страх и риск с помощью работавшей тогда в крупнейшем воронежском коммерческом банке первой жены конвертировал многомиллиардный общак в решительно не пользующиеся спросом на территории России португальские эскудо. Курс эскудо к рублю, в отличие от доллара, определялся Центральным банком не ежедневно,

а раз в неделю. Зарубежные же банки устанавливали курсы всех европейских валют к доллару и японской йене ежедневно, чем и воспользовался Дровосек. В ту счастливую для него неделю эскудо в России стоил много дешевле, чем в остальном мире. Скачок стоимости эскудо по отношению к доллару был вызван обнародованной информацией об ожидаемом отменном урожае цитрусовых в Португалии и катастрофическом их неурожае на африканском севере. Через неделю курс португальской валюты, естественно, выровнялся, но Дровосек (первая жена) успел (а) через зарубежный банк перевести резко подорожавшие эскудо в доллары, а доллары – уже через российский банк – в рубли, в результате чего общак существенно преумножился.

Курировавший Черноземье вор в законе – смышленный дед по фамилии Тукало, – ознакомившись с объяснительной запиской Дровосека, распорядился проверить все тщательнейшим образом. Он был приятно удивлен результатами проверки: Дровосек полностью сдал в общак сумму. Ни доллар, ни рубль, ни загадочный эскудо не прилип к его рукам. Тукало немедленно вывел Дровосека из-под всех возможных статей Уголовного кодекса, приказал ему превратиться в законопослушного, легального бизнесмена – приверженца экономической свободы и политической стабильности. Через год Дровосек заседал в Конституционном совещании и за круглым столом предпринимателей России.

Отныне криминальный след в его делах не просматривался.

Два года назад вор в законе – куратор Черноземья Тукало – бесследно исчез, прихватив с собой общак. Это был неслыханный, даже по воровским понятиям, поступок. Ближний круг Тукало был вырезан до земли, выжжен дотла. Каждый год возникали слухи, что Тукало видели то в Мексике в казино, то в публичном доме в Рио-де-Жанейро.

Дровосек прошел через несколько разборок, но в конце концов получил отступную, пообещав в кратчайшие сроки существенно преумножить уже новый (экстренно собранный) общак, в основу которого легли миллиарды из знаменитой летней серии ограблений коммерческих банков в Москве, на Юге России, Кавказе и в Гулистане. Выполнив обещание, Дровосек перебрался в Москву.

С недавних пор он стал уделять повышенное внимание вопросам собственной безопасности.

У Дровосека не было ни высшего, ни среднего специального образования. Но в новом своем деле – преумножении денег – он был профессионалом, как и майор Пухов в своем. Дровосек нашел себя, преобразился в новом деле, как преображается, расцветая в огне, мифологическая саламандра, наслаждался им, как наслаждается в прохладной зыби океана только что вылупившийся из яйца, проделавший долгий путь по раскаленному песку черепашонок. Но в то же время и что-то в себе потерял, как теряет в себе (и не только в себе) это «что-то» каждый растворяющийся в работе профессионал.

Вот только «что-то» у всех было разное. Майор Пухов потерял страну, которую охранял. Поэтому собственная жизнь сейчас не представляла для него большой ценности. Дровосек приобрел миллиарды. Поэтому потеря собственной жизни автоматически превращалась для него в невозможность вершить строительство новой страны. Имелась в виду страна, в которой Дровосек – бывший держатель черноземного воровского общака – жил бы как хозяин, не опасаясь ни пули нанятого конкурентами киллера, ни тюремной камеры от властей. Пока что строительство заключалось для Дровосека в том, что он в поте лица рубил старый ствол и вместо щепок под ноги ему летели миллиарды.

В случае внезапной смерти майор Пухов терял всего лишь прошлое. Дровосек – будущее, что превращало для него смерть в вопиющую несправедливость. Поскольку будущее, как известно, – особенно при наличии больших денег – тревожит и томит душу сильнее прошлого. Ибо в будущем возможно все, в прошлом – уже ничего.

Пухов был старше Дровосека, а потому знал, что чрезмерный, абсолютный профессионализм представляет собой замкнутую, самодостаточную систему. Трагедия профессионализма как способа существования отдельной личности, по мнению майора Пухова, состояла в том, что профессионализм (как система понятий и связей) в конечном итоге пытался подменить собой мир, навязать живой жизни свои железные законы. Жизнь этого не терпела, а потому неизменно – рано или поздно – свергала иго профессионализма, хороня под обломками идеальных конструкций отдельно взятых профессионалов.

Истинный профессионал не может остановиться на пути к совершенству.

Его останавливает только смерть.

Пухов наблюдал за Дровосеком, и ему казалось, что ни совет директоров финансово-промышленной группы, ни ее глава более не контролируют, не определяют движение потоков денег. Собственно, у империи Дровосека никогда не было фундамента. Она изначально была плавучим (или летающим, как в произведении Джонатана Свифта) городом. Дровосек был гением создания денег из ничего, но якоря лодок-джонок, из которых был составлен город денег, не доставали до дна. Пока еще плавучий город был сбит в кучу, но в любой момент мог налететь шторм, разметать непрочную флотилию.

Денег становилось слишком много. Возможностей их естественного, некриминального применения оставалось слишком мало. Деньги начинали отравлять атмосферу, душить Дровосека, сжигать его, как чрезмерное пламя саламандру, прижимать его к безвоздушному дну, как жестокий лунный прибор черепашонка. Пухов относился к своему шефу с симпатией, но не обманывался насчет того, что тот успеет вклеить в паспорт последнюю – по достижении сорока пяти лет – фотографию.

К Дровосеку майора определил генерал Толстой. Он вдруг позвонил Пухову домой в неурочное время – в два часа ночи. Майор так и не понял: или генерал, что называется, взял на грудь, или же ему хочется, чтобы Пухов запомнил странный звонок.

– Когда средняя цена человеческой жизни бесконечно надает, – сказал генерал Толстой, – бесконечно возрастает цена... чего, сынок?

– Отдельно взятой человеческой жизни, – ответил майор. Он понимал это даже в два часа ночи.

– Я бы не сказал, что возрастает именно цена, – возразил генерал, – скорее, возрастает нежелание некоторых людей смириться с установленной за них ценой. Эдакий бунт гнилого товарца. Имеет место завышенная оценка собственной шкуры. Наверное, это следует называть гордыней, ведь так, сынок?

– Кем именно установленной? – уточнил майор.

– Сложный вопрос, – усмехнулся генерал. – Видишь ли, майор, цена складывается из многих составляющих. К сожалению, нынче составляющие цены у многих опасающихся за свою жизнь работают не на ее повышение.

Вообще-то, – зевнул он в трубку, – истинная цена человека такова, за сколько он первый раз в жизни осмысленно продан. Потом он, конечно, может продаваться и дороже, но сути дела это не меняет. Выходит, что цену себе человек назначает сам, майор, а затем разными хитрыми способами пытается ее зависить. Зачем я тебе звоню? Ах да, я просто хочу сказать, что банально возрастает спрос на тех, кто умеет или делает вид, что умеет охранять человеческую жизнь. Так воспользуйся этим, сынок. Скажи ему, сколько ты хочешь, – и он будет платить тебе в два раза больше. Он ждет твоего звонка. Впрочем, ты совершенно свободен в принятии любого решения, – добавил генерал Толстой.

Отправляясь на свидание с Дровосеком, майор терялся в догадках. Или у Дровосека действительно есть причины опасаться за свою жизнь, или сходные причины появились у самого майора – начальники охраны, телохранители, как известно, гибнут едва ли не чаще тех, кого охраняют. Майор подумал, что, охраняя Дровосека, он будет (в случае принятия предложения) охранять и себя. Поэтому он будет охранять его на совесть. Если только их с Дровосеком не слили, так сказать, в один подлежащий уничтожению файл.

– Мы можем ездить хоть на пяти джипах, перекрывать Садовое кольцо и Красную площадь, но если кто-то очень сильно хочет вас убить – он это сделает. Существует множество новых способов, вы это знаете не хуже меня, – сказал Пухов Дровосеку во время их первой встречи в офисе на Смоленской площади.

Был ясный осенний вечер. Красное круглое солнце воздушным шаром пролетело между башнями Киевского вокзала и теперь висело над утекающей в сторону Лужников Москвой-рекой. На оставленной солнцем небесной территории появлялись первые звезды. Окно в офисе Дровосека представляло собой как бы выступающий из небоскреба прозрачный угол. Внизу простирался опасный для жизни город – Москва. С этажа Дровосека было трудно уяснить – застраивается он или, наоборот, разрушается.

– Вы весьма обнадеживающе и оптимистично начинаете разговор. – Дровосек выглядел утомленным, решительно не радующимся собственным известности и богатству человеком. Ему не было тридцати. Его фигура еще хранила память о прошлых тренировках. «В лучшем случае седан – первый дан карате», – с запасом определил физические кондиции молодого миллиардера майор Пухов. Дровосек мог продержаться против сколько-нибудь сведущего в этом деле человека от силы несколько секунд.

– Это все равно что прийти в банк за кредитом с грубым заявлением, что возврат его в положенный срок и под оговоренные проценты совершенно невозможен, – продолжил потенциальный работодатель майора. – Хорошо. – Дровосек развернулся, встал спиной к пылающему окну. Так становились на специальных ступенях в пирамидальных храмах майя жрецы, вещающие собравшемуся народу от имени солнца. – Допустим, вы получили по сотовому телефону заказ на меня прямо сейчас. Сколько бы вам потребовалось времени?

– Боюсь, вас неправильно информировали относительно моих занятий, – удивился Пухов.

– Теоретически, – без малейшего намека на готовность превратить все в шутку уточнил Дровосек, – естественно, чисто теоретически. И, естественно, речь не идет о находящихся здесь, в этой комнате, в этом здании, в этом городе, в этой стране, на этой планете, а также на Марсе людях. Мне аттестовали вас как специалиста класса «супер», – добавил Дровосек, – но, говорят, еще есть специалисты класса «абсолют». Это так?

– Есть водка «Абсолют», – сказал майор. – Зря вы, молодой человек, читаете разную белиберду в глянцевых обложках.

– Да-да, водка, – не стал лезть в бутылку (в переносном смысле), снискав симпатию майора, Дровосек. – И мы сейчас попросим, чтобы нам принесли по стопочке из холодильника, – полез в бутылку, опять-таки снискав симпатию майора (в прямом), распорядившись из кабинета.

– Вы, очевидно, полагаете, что я скажу, мол, в водку можно подсыпать стрихнин, – предположил Пухов, – но это отпадает.

– Почему? – мгновенно отреагировал Дровосек.

– Слишком сложно.

– Сложно? – удивился Дровосек.

– Много возни, – пожал плечами Пухов, – и нет гарантии, что не выпьет кто-то другой. Скажем, подружка вашей секретарши. Или сантехник дядя Вася утащит

бутылку из холодильника домой и отравится вместе с женой, шурином, соседом и пятилетним сыном. Отравление – очень тонкое, ныне почти забытое искусство. У вас примерно одинаковые шансы быть отравленным и... получить в грудь каленую стрелу из арбалета.

– Вы сняли камень с моей души, – бесстрашно разлил по рюмкам водку Дровосек. – За долгую жизнь! – Выпил, закусил крохотным бутербродиком с черной икрой. – Как, кстати, насчет моих шансов быть утопленным?

– Они равны шансам сгореть заживо, – усмехнулся майор.

– И все же продолжим, – не поддержал его веселья Дровосек. – Итак, вам прямо сейчас позвонили по сотовому...

«Дался ему этот сотовый», – поставил пустую рюмку на столик майор Пухов.

– Все зависит от поставленных условий: скорости и качества исполнения.

– Цито, то есть максимально быстро, – подсказал Дровосек. – Качество, скажем так... без косметических швов.

– Тогда вон тот дом, – показал Пухов на освобожденный от жильцов, частично выломанный внутри, зияющий пустыми черными окнами трехэтажный особняк напротив. – Можно из винтовки с оптическим прицелом, можно, если требуется пошуметь, из гранатомета.

– А если требуется тишина и, так сказать, максимальная естественность?

«Тебе ли не знать», – вспомнил про бесследно исчезнувшего вора в законе, куратора Черноземья Тукало, Пухов. Похоже, Дровосек или сильно нервничал, или, что называется, сходил с круга, ожидая покушения. Это был весьма разрушительный для психики синдром. Он был сильнее фрейдистских, ложно названных именами героев древнегреческих трагедий – Эдипа, Электры, Антигоны, Клитемнестры и прочих – комплексов. Но Пухову были известны случаи, когда, узнав о предстоящей смерти, люди мгновенно – без всякого вмешательства врачей – излечивались от многих пороков и скверных привычек, становились весьма энергичными, деятельными и изобретательными. Хотя это

далеко не всегда помогало им остаться в живых.

– Все зависит от наличия определенных технических средств, – вздохнул Пухов, которому, признаться, поднадоел этот умозрительный разговор.

Ему показалось, что он разгадал комплекс Дровосека. Комплекс был прост. Дровосек был вынужден доверять охрану своей жизни посторонним людям. При этом он не то чтобы им не верил, но тяготился своей пассивной (теоретически они могли убить его в любой момент) от них зависимостью, когда, допустим, шел от машины до двери офиса, плавал в бассейне или прогуливался вечером по дорожкам пансионата «Озеро». Точно так же в свое время Сталина бесконечно раздражало и огорчало близкое и скрытое присутствие вооруженных людей (охраны). Несовершенство мира, таким образом, для Сталина заключалось в невозможности контролировать сознание охраняющих его с оружием в руках (невидимых!) людей. Дровосек, судя по всему, тоже относился к категории личностей, для которых утрата инициативы, необходимость следовать (даже в таком деле, как охрана собственной жизни) не ими придуманным предписаниям были совершенно непереносимы.

– Предоставляются любые, – заверил Дровосек.

– Тогда лабораторная рентгеновская пушка, – предложил Пухов, – они есть в любом НИИ, занимающемся радиологическими технологиями. Пушка устанавливается в закрытом – с металлическим радиопроницаемым корпусом – автобусе. Всего делов-то – постоять рядом с вашей машиной на перекрестке. Доза рассчитывается в зависимости от заказанного дня смерти. Неделя, месяц, квартал, даже год. Болезнь называется лейкемия, рак крови, очень распространенная в наше время, а главное, внезапная и коварная болезнь. Я гарантирую вам защиту от бомжа, – продолжил майор, – если он бросится на вас, когда вы будете выходить из «мерседеса». От разгневанного, обманутого, пусть даже и вооруженного, вкладчика. От проститутки и сутенера, если вы вдруг ей не заплатите. От российского ОМОНа, если они придут вас арестовывать или обыскивать ваш офис без соответствующей санкции. Пожалуй, что и от падающего с крыши кирпича. Только ведь вы, – Пухов впервые пристально посмотрел в глаза Дровосеку, – нанимаете меня не для этого.

Взгляд Дровосека был абсолютно непроницаем, как, впрочем, и положено было быть взгляду человека, повелевающего миллиардами. – Пухову показалось, он заглянул в дуло танка или в трубу миномета. Это не удивило майора. Он знал,

что деньги, как и смерть, рождались в темной непроницаемой пустоте.

– Я напоминаю сам себе крестьянина, – задумчиво произнес Дровосек. – Я засеял свое поле и жду урожая, но со всех сторон на мое поле надвигаются кошмарные черные тучи. Я знаю, как бороться с тучами. В принципе, я могу расстрелять из градобойных орудий все небо. Но я бессилен против смерча. А тучи определенно сворачиваются в смерч, как в скверный черный кулек.

Пухов подумал, что этой фразе позавидовал бы любой арабский шейх. Шейхи, как известно, являются большими мастерами говорить образно, но при этом очень логично. Подвижная ясность мышления вообще была характерна для шейхов. Образность слога была средством спрямить путь мысли. Пухов знал шейха, который уяснив, что миром правит стодолларовая купюра, приобрел самое современное оборудование, разместил его в подвале своей виллы и начал печатать стодолларовые купюры, превосходящие качеством и прочностью настоящие – Федерального казначейства США. Шейх, как ни странно, был жив до сих пор. Видимо, потому что печатал доллары только для собственных (подвижная ясность мышления вмещала в себя многие добродетели, в их числе осторожность) нужд. В прежние годы по заданию руководства Пухов несколько раз обращался к шейху с разными заманчивыми предложениями, но шейх наотрез отказывался от сотрудничества, в свойственной ему образной манере объясняя, что у рожденных им денег изначально отсутствуют яйца, то есть они могут тратиться на приобретение различных, необходимых лично ему вещей, но ни в коем случае не могут размножаться, ибо это не может не нарушить гармонию мироздания. Отсутствующую гармонию, каждый раз со вздохом добавлял мудрый шейх, заранее отметая все возможные возражения.

Пухов молчал. Расстрелять небо. При желании в этом можно было увидеть пугающие, богоборческие мотивы.

– Финансы – одна из разновидностей мира власти, – проговорил Дровосек, отслеживая взглядом узкую, напоминающую клинок тучу, определенно взявшую курс на его офис. – Вы не хуже меня знаете, по каким законам существует этот мир. Если в нем к тридцати не генерал... – покрутил он в воздухе пальцами. – Не буду скрывать, что я как руководитель крупнейшей в стране негосударственной финансово-промышленной группы стою на пороге принятия ответственных решений. Все элементарно, майор, – вдруг весело подмигнул Пухову, – или мы расчистим небо, или смерч унесет нас к чертовой матери. Я честный бизнесмен и исправный налогоплательщик. Мне некуда бежать, я слишком известен. И

главное, майор, я никому ничего не должен. Мне – да, должны, но это другой разговор. Поэтому я буду счастлив, если от бомжей, разгневанных вкладчиков, проституток и их сутенеров, не имеющего соответствующей санкции ОМОНа и падающего на голову кирпича меня будет защищать такой блистательный профессионал, как вы. – Дровосек приблизился к вмонтированному в стену сейфу, набрал клавишами код. Пискнув, сейф открылся. – Так уж повелось, что охрана получает жалованье из моих рук, – как бы даже извиняясь, повернулся к Пухову, разорвал оранжевую банковскую скобку на пачке новеньких стадолларовых (как будто только что от шейха) банкнот. – Напомните мне сумму вашего оклада, майор.

Дровосек подошел к нему почти вплотную, так что майор ощутил специфический типографский запах свежееотпечатанных (он надеялся, что все же не у шейха, а в Федеральном казначействе США) банкнот.

– Я бы попросил вас перечислять зарплату на номер счета, который я укажу в заявлении для бухгалтерии, – сделал шаг назад Пухов.

– Майор, вы холодны к наличным деньгам, – констатировал Дровосек, огорченно бросил рассыпавшуюся пачку на стол. – Не думаю, что вы к ним равнодушны, но неконтролируемая радость прикосновения к новым купюрам вам чужда. Или у вас достаточно денег, или же деньги в этой жизни для вас не главное. Я с уважением отношусь к людям, для которых деньги не главное, – продолжил Дровосек. – Мне приходилось работать с наличными, – задумчиво посмотрел на открытый сейф. – Тема отношения людей к наличным деньгам ожидает своего Фрейда, а может, Ницше. Вы не поверите, майор, но я наблюдал, как солидные мужики кончали в штаны, унося в карманах по сто пятьдесят штук. Сто пятьдесят тысяч долларов в трех карманах, майор, точка оргазма. Когда уносили в кейсах и сумках – никакого оргазма. Так только... – покачал головой Дровосек, – легкий нервический подъем – расширенные зрачки, дрожь в руках, невнятная речь, испарина. У баб порог, естественно, ниже. Одна мне сказала, что кончила в метро шесть раз подряд, пока ехала от Белорусской до Павелецкой, а всего-то везла в колготках... семьдесят... семь штук.

Майор задумчиво посмотрел на Дровосека, но тот не заметил его взгляда. Пухов подумал, что это или случайное совпадение цифр, или Дровосек (не зная) произносит цифру с чужих слов. Майор знал с чьих.

– Людей можно делить не только на умных и глупых, – продолжил глава крупнейшей в России финансово-промышленной группы, – честных и лживых, добрых и злых, храбрых и трусливых, но и на горячих и холодных к деньгам.

– Горячие кончают в штаны, когда у них в трех карманах сто пятьдесят штук? – уточнил майор.

– Ну, тут не каждому удастся себя испытать, – засмеялся Дровосек, – скажем так, есть люди, которым нравится без нужды пересчитывать деньги, и есть, которые делают это только в случае крайней необходимости. Но вот беда, – закончил Дровосек, – у тех, кому нравится без нужды пересчитывать деньги, денег никогда не будет столько, чтобы их можно было не пересчитывать. Тут какая-то тайна. Бог не допускает до денег тех, кто их боготворит.

– Допускает тех, кто не боготворит? – Пухов подумал, что теория Дровосека имеет точно такое же право на существование, как, к примеру, теория Маркса о прибавочной стоимости.

– Допускать до денег тех, кто их не боготворит, бесполезно. – У Дровосека был готов ответ. – Холодным не интересен мир денег. Бог допускает до денег того, – понизил голос Дровосек, – кто не холоден, не горяч, но тепел. С тем чтобы впоследствии изbleвать его из уст своих... Об этом прямо говорится в Библии, майор! Но все делают вид, что не знают, о чем это. Деньги – это проклятие, майор, – посмотрел в глаза Пухову Дровосек, – дамоклов меч, вечно падающая Пизанская башня... Но я прошу вас сделать все возможное и невозможное, чтобы никто не снял с меня этого проклятия, не помог досрочно выскочить из-под дамклова меча, падающей Пизанской башни.

...Дровосек занимал в пансионате «Озеро» трехкомнатный «люкс». Молодой миллиардер был довольно скромн в быту. По окружающим Дровосека вещам и интерьеру трудно (почти невозможно) было составить представление о личности их владельца, обитателя «люкса».

Пухову было известно, что Дровосек три раза приобретал великолепные квартиры в престижных, как говорят нынче, домах в центре, проводил там неслыханные ремонты с перепланировкой, обставлял супердорогой мебелью, но ни в одну из квартир так и не въехал. Дровосек как бы умышленно сторонился роскоши, сопутствующей большим деньгам, придерживался в их расходовании

линейного принципа, когда деньги видоизменяли окружающую жизнь в точном (и ни на миллиметр в сторону) соответствии с желаниями и требованиями их обладателя, но никоим образом не диктовали ему свою волю, побуждая, в силу своей отчасти женской природы, к излишествах. Так, на крыше пансионата был установлен спутниковый комплекс связи последней модели, в номере же Дровосека отсутствовали телевизор с большим плоским экраном, новомодный – со стендом – компьютер, погружающий в виртуальную реальность, кондиционеры, прочие обязательные атрибуты, скрашивающие быт богатого человека. Зато имелся странный электронный прибор, громко – и очень естественно – наполняющий комнату (по выбору) то свистом ветра, то шумом дождя, то плеском волн, то ретрансляцией сердцебиения находящегося в комнате человека (людей), то абсолютной какой-то космической тишиной. В номере Дровосека имелся и музыкальный центр, но компакт-дисков насчитывалось всего ничего. Дровосек (Пухов сам был тому свидетелем) слушал американскую рок-группу начала семидесятых «Doors», музыку Леонардо да Винчи в исполнении флорентийского оркестра старинных музыкальных инструментов и фортепианные произведения Рахманинова. Модных, поющих полублатные песни о «новых русских» исполнителей Дровосек не слушал.

Ближнее окружение пыталось «расколоть» Дровосека на реконструкцию пансионатской сауны и бассейна (там не было ни гидромассажа, ни джакузи), но Дровосек, на словах не возражая, отказывался визировать подсовываемые ему (в числе прочих) платежки как со словами «установка гидромассажера» и «джакузи», так и со словами «плановый ремонт санитарно-технического оборудования временно арендованного помещения».

Бросающиеся в глаза страсть к уединению, замкнутость (Дровосек встречался только с теми, с кем не мог не встречаться), а также то многозначительное обстоятельство, что шикарным московским квартирам он предпочитал казенный пансионат «Озеро», свидетельствовали о глубочайшей тоске, испытываемой главой крупнейшей в стране финансово-промышленной группы. Тревогой, как воздухом, дышал Дровосек. Тревога и тоска составляли суть его жизни. Дровосек не то чтобы перестал интересоваться деньгами (тогда вся его жизнь теряла смысл), но как бы поднялся на ступеньку над деньгами. Это означало, что не в деньгах было дело. Пухов знал, на какую ступеньку встал Дровосек. Это была особенная ступенька между жизнью и смертью.

Ступенька объявленного приговора.

На нее вставали многие люди. Пухов прочитал в каких-то мемуарах, что маршал Тухачевский накануне ареста пришел на первомайский военный парад на Красной площади пешком и без охраны. Он шел к трибуне Мавзолея в расстегнутой по причине теплой погоды шинели и, что в высшей степени было для него нехарактерно, опустив руки в карманы. Со ступеньки объявленного приговора легко и естественно было прыгнуть в смерть, но в редких случаях удавалось – опять в жизнь. Дровосек, похоже, не собирался на первомайский парад в расстегнутой шинели и с руками в карманах. Пухов подумал, что в этой ситуации даже сто пятьдесят штук в трех карманах вряд ли подняли бы Дровосеку настроение. Не говоря об остальном.

Майор Пухов встречал в своей жизни немало умных людей. Вне всяких сомнений, Дровосек был умным человеком. Его ум проявлялся хотя бы в том, что и по сию пору майор Пухов не знал, что он за человек. Яркая индивидуальность у главы финансово-промышленной группы сочеталась с неуловимостью личности. Иной раз Пухову казалось, что сущность Дровосека есть зеркальное отражение сущности денег, которые, как известно, не обладают сущностью. В добрых руках деньги творят добро. В злых – зло. Личность Дровосека, таким образом, должна была запечатлеться, как в камне, в этапах становления финансово-промышленной империи «Дровосек».

У майора Пухова были все основания подозревать, что в фундаменте ее покоился вlepенный в жидкий бетон (увековеченный) труп Тукало. Хотя, надо думать, куратор Черноземья не мечтал о таком рукотворном памятнике. Последний раз Тукало якобы видели на Багамских островах. Некий журналист опубликовал интервью с беглым вором в законе. Тукало обвинял российскую власть в прямом пособничестве русским национал-социалистам, выражал обеспокоенность замедлением темпа реформ в Российской Федерации, изъявлял желание хоть сейчас инвестировать в российскую экономику два с половиной миллиарда долларов, однако решительно настаивал на правительственных гарантиях. И при этом почему-то сильно ругал Государственную думу, направившую президенту письмо с предложением отменить выборы, объявить себя пожизненным властителем, «отцом всех россиян».

От Лены Пак – она единственная из нынешнего окружения миллиардера сотрудничала с ним еще в Воронеже в бытность свою главным художником Воронежского ТЮЗа – Пухов узнал, что первые большие деньги Дровосек сделал на излете бывшего Союза, когда вместе с одним казаком задешево скупал по всей стране пропадающие, лежащие россыпью на складах и где попало

химические удобрения, да и перепродавал их в Китай, Индию и Южную Америку. До сих пор Россия не могла оправиться от этой сделки, каждую весну испытывая острейшую нехватку химических удобрений.

От Лены же Пухов узнал, что в конце девяносто второго года компания лишь чудом избежала краха.

...Они, помнится, лежали на огромной пружинящей кровати в мотеле под Геттингеном. Мотель был не из дорогих. В комнате был слышен шум проезжающих по автостраде машин. Свет их фар расплывчато пробивался сквозь плотную – во всю стену – штору, скользил по длинному благоухающему телу кореянки по отцу и украинки по матери Лены Пак. С Пуховым что-то случилось в ту ночь. Когда отраженный и изломанный свет фар пронесшихся по автостраде машин, как улику (или вещдок), предъявлял ему из темноты произвольно выбранный фрагмент совершенного женского тела, Пухова охватывало неодолимое желание. Он бросился на изнемогающую, с искусанными губами, пытавшуюся полупротивиться ему Лену. Она была очень нежной и очень изысканной. И полупротивилась она изысканно и нежно. Ее сладостное – с глухим стоном и лебединым заломом рук – полусопротивление превращало майора Пухова в истинного сексуального демона.

Бедная Леночка попыталась скрыться от него в ванной. Нащупав ногами тапочки, она ступила на покрытый синтетическим ковром пол, немедленно угодив в столб света, пробивший плотную штору. Это уже были не улика, не вещдок, а блистательно расследованное дело, написанное языком Тургенева обвинительное заключение. Не иначе как огромный грузовик встал перед окнами. Пухов в два прыжка нагнал Лену, овладел ею сзади, стиснув цвета топленого молока груди, как не по своей воле опустившиеся с пригнутой гибкой ветки прямо ему в ладони (он не знал, с какими произрастающими на ветках плодами их сравнить, наверное, со сладкими золотыми грушами), уже и не стонущей, а всхлипывающей, уткнувшейся головой прямо в космический яркий свет. После чего отпустил чуть живую Леночку в ванную, сам же, едва добравшись до гигантской, как бильярдный стол, кровати, отрубился и проснулся только на рассвете, когда снаружи зашаркал метлой, сметая с дорожек мотеля осенние листья, чернокожий (как бы оставшийся лицом и руками в ночи) уборщик.

Заканчивалась первая неделя работы майора у Дровосека. Они прибыли в Ганновер. У Дровосека возникли срочные дела в Мюнхене. Он вылетел туда на

самолете, велел Пухову быть в Мюнхене через два дня на арендованной машине, чтобы из Мюнхена двинуться в Вену, а оттуда в Загреб. Пухов не сомневался, что его шеф хочет толкнуть хорватам партию оружия (тогда, как, впрочем, и сейчас, это был первейший на Балканах товар). Но это было не его, майора Пухова, дело.

Дровосек ничего не сказал ему про своего имиджмейкера и главу рекламного отдела. Пухов видел красавицу-корейку в офисе на Смоленской и некоторое время сомневался, она это или не она, длинная и гибкая, как змея, выскользнула у придорожного ресторана из новенького «опель-колибри». Девушка была, как рюмка, вставлена в голубые джинсы, и Пухов, забыв запереть тяжелый, позолоченный внутри «Saab-9000», пошел за ней следом, зачем-то тоже встал в двигающуюся вдоль хромированных застекленных лотков очередь, взял порцию то ли котлет с крыжовником, то ли кроличьего рулета с яблоками. Он еще только смотрел на нее сзади, а уже знал, что их путь – до ближайшего мотеля и еще знал, что совершает большую, если не сказать непоправимую, ошибку. Но эта ошибка даже теоретически не могла нанести ущерба ни Родине, ни людям, зависящим от майора, ни Лене (красавицы, как известно, не совершают своих и обращают себе на пользу чужие ошибки), а только самому майору Пухову.

Он же с некоторых пор не считал собственную жизнь абсолютной и безусловной ценностью, «мерилом всех вещей».

Поэтому майор на мгновение прижался восставшей в штанах плотью к литым голубым джинсам Лены, выбирающей десерт, потом отпрянул, а когда та в недоумении обернулась, произнес: «Это судьба». У корейки были зеленые в коричневую крапинку, как у леопарда, глаза, прямые осветленные волосы, по походному схваченные на затылке резинкой. Она была далеко не бедным человеком, ощущала себя в Европе как дома (лучше, чем дома) и совершенно не искала знакомств на бензоколонках и в придорожных ресторанах. Ее чистая, цвета топленого молока кожа благоухала. Она казалась майору нимфой прозрачного холодного ручья или высокой, прячущейся в облаках горы в стране Утренней свежести. Одной рукой он стиснул, переплел со своими ее тонкие пальцы, другой властно прижал корейку к себе. Майору приходилось иметь дело с женщинами желтой расы. Он не думал, что имиджмейкер Лена Пак воспитывалась в восточных традициях, но ухаживал за ней по-самурайски: перед всем миром демонстрировал ей свою страсть и свою волю, тем самым ставя женщину выше целого мира, но ниже собственной воли.

Она не могла не подчиниться.

Ее уже не было на кровати ранним осенним утром, когда майора разбудило шарканье метлы, сметающей опавшие листья. Это был первый случай в жизни майора, когда женщина ушла, а он не проснулся. Не то чтобы Пухов бесконечно доверился (во сне человек, как известно, максимально беззащитен) Лене Пак. Не было смысла противиться судьбе. Для судьбы не имела значения такая мелочь – проснулся или нет Пухов, когда Лена Пак покидала номер мотеля.

Стоя под напористым – сначала горячим, а затем холодным – душем, майор понял, что Лена поступила мудро. Она помчалась на своем «опеле-колибри» в Ганновер, чтобы не застать Дровосека в отеле, получить у портье его записку и немедленно позвонить по указанному номеру в Мюнхен. Дровосек знал, что Пухов еще вчера съехал из отеля. Но он не мог знать, что майор совершенно случайно встретил его имиджмейкера и начальника рекламной службы в придорожном ресторане.

На автостраде за рулем тяжелого, позолоченного внутри «Saab-9000» Пухов испытывал смутные угрызения совести. Хотя на первый взгляд ему не за что было корить себя. Дровосек ничего не сказал ему про Лену. Пухов спросил у нее сам.

– Он хочет, чтобы я вышла за него замуж, – ответила Лена.

Майору показалось, что в комнате сквозняк. Он подошел к большому – во всю стену – закрытому шторой окну. Форточка была закрыта.

– А ты? – спросил майор.

Корейка сидела в позе лотоса на кровати, как выточенная из мыльного камня статуэтка.

– Я... не знаю, – не сразу ответила она.

– Почему? – спросил майор.

– Видишь ли, он... Как бы тебе сказать... Ничего не может как мужчина. Хотя он говорит, что это пройдет.

Пухов едва сдержался, чтобы не ударить ее. Всякий раз женское предательство огорчало его. Пусть даже женщина предавала другого. Пухов ни мгновения не сомневался – придет и его очередь. И еще он подумал, что его сегодняшняя сила и (если верить Лене, а он ей не верил) бессилие Дровосека – это, в общем-то, две стороны одной медали – превосходящего меру души одиночества.

Встроившись в колонну джипов с английскими номерами, майор размышлял о пропасти одиночества, в какую сталкивают человека деньги. Пухов знал, что взаимность денег – это превращение жизни в выжженную пустыню. Пухов знал, какой бывает выжженная деньгами жизнь-пустыня. Деньги хуже ревнивой жены. Они, как ветхозаветный Бог, требуют человека всего, не оставляя ему ничего, даже самой малости, как женщина.

Майор Пухов был вынужден признать, что это жестоко, но правильно и справедливо. Сильные страсти всегда оплачивались сильными страданиями.

...Лена Пак рассказала ему (хотя Пухов не спрашивал), что в конце девяносто второго года компания была на грани краха и спаслась только благодаря рекламе.

– Он распорядился, – у Пухова, помнится, создалось впечатление, что этими своими рассказами Шахерезады она пытается отвлечь его от очередной (майор потерял им счет) любовной атаки, – бросить все остатки по счетам на рекламу. Мы купили время на всех телеканалах, место во всех газетах. Нам было нечего рекламировать, кроме совершенно дохлой, третьей по счету стомиллиардной эмиссии акций АО «Дровосек». Совет директоров подал в отставку, он остался один. Новые акции, – продолжила Лена, – рекламировали по всей стране, но их не было в продаже. Они валялись пачками, как макулатура, у него в кабинете.

«Что ему ты, – подумал майор Пухов, – что ему любая другая баба, когда он, можно сказать, трахнул сразу всю Россию? Не мудрено, что Дровосек потом решил сделать передышку».

– На счетах АО было по нулям, когда на всех биржах начали требовать эти мертвые акции. Он дождался, пока акция при номинале в десять тысяч стала стоить пятьдесят, и только тогда выбросил их на биржу. Сначала небольшую партию. А потом он как бы начал их покупать сам у себя. То есть продавал акции по курсовой стоимости – пятьдесят тысяч за штуку – и тут же задним числом, то

есть как бы еще непроданные, записывал их на себя. Как эмитент он имел право. Будто бы он их непосредственно после эмиссии купил – оплатил – по десять тысяч за штуку. Понимаешь, ему не надо было даже ничего тратить. Он просто вычитал из пятидесяти тысяч десять и имел с каждой проданной акции по сорок тысяч.

– Ты как будто обижена на него, – заметил Пухов. – Неужели за обманутых вкладчиков?

– Я не должна на него обижаться, – вздохнула Лена, – он сделал меня богатой и независимой.

«Но ты ему за это мстишь», – с тоской подумал майор.

Ему в общем-то все это было известно. Как и то, что в компьютерных банках данных различных ведомств собиралась, процеживалась, систематизировалась информация обо всех сколько-нибудь заметных предпринимателях. Над каждым из них висела свинцовая плита компромата, и они, естественно, знали это, откупаясь (у кого были деньги) от участия в политике, раздавая на всякий случай всем сестрам (политикам) по серьягам (дешевым).

Пухов решительно ничего не имел против своего нового шефа – Дровосека, но он бы не был профессионалом, если бы пропустил мимо ушей и глаз информацию, которую мог без труда (или с трудом) получить.

Дровосек неплохо поучаствовал в приватизации металлургических и горно-обогатительных комбинатов. Эти комбинаты в настоящее время приносили ему кое-какую прибыль, но они функционировали в режиме самопоедания, чего, естественно, Дровосек не мог не понимать. У него не было конкурентов по бензину на Юге России, однако в Москве Дровосека только лишь терпели, не позволяя выходить за определенные на год квоты по импорту продовольствия, межбанковскому кредиту и валютным операциям. В последнее время дела в столице у Дровосека шли настолько туго, что он был вынужден бросать по сто миллиардов рублей в день на обменные пункты, чтобы гасить задолженности по налогам и аренде помещений.

– По сравнению с другими у него в общем-то все не так уж плохо, – оторвавшись от экрана компьютера, сообщил майору Пухову знакомый парень в управлении

по борьбе с экономической преступностью, – dna пока не видать. Но... Расходы у него однозначно выше, чем доходы. Он покрывает их за счет черных денег, майор. Был очень крупный, сопоставимый со средним бюджетом региона, хапок, который нам не удалось отследить. Это не черноземный общак Тукало, не минеральные советские удобрения – это гораздо серьезнее. В любом случае, – подвел итог приятель Пухова, – не советую идти к нему.

– Почему? – исключительно из вежливости полюбопытствовал принявший решение идти майор.

– Его должны замочить, это же очевидно, – пожал плечами приятель. – Зачем тебе лишняя головная боль? Боль, которую лечат, лишая головы? Если в него закачали государственные деньги – это обязательно всплывет, он будет автоматически ликвидирован. Не мне тебе объяснять. Если негосударственные... – покачал головой. – Негосударственных денег в таких количествах попросту не существует. С него спросят, майор, обязательно спросят. Ситуация в экономике сейчас такова, что, даже если он добывает из воздуха золото, он все равно не сумеет выплатить проценты, не говоря о самом долге.

– Кто спросит?

– Интересный вопрос, – усмехнулся приятель. – Я думаю, спросит тот, кому очень понадобятся деньги. Огромные деньги, майор. Прикинь, майор, кому в России сейчас крайне нужны деньги? Он и придет по душу этого твоего... как его... Дроволома.

...Еще не было десяти, но глава финансово-промышленной группы «Дровосек» уже покинул свои покои и переместился в офис, находившийся здесь же – на втором этаже пансионата «Озеро».

В «предбаннике» офиса охраны не было. Там по причине выходного дня находился один лишь личный секретарь и помощник Дровосека – молодой человек по фамилии Ремер. Он был светловолос, голубоглаз – одним словом, у него была арийская, но какая-то усредненная, обезличенная внешность. Раз в месяц Ремер летал в Цюрих. Подобная, высшая, степень доверия со стороны шефа, естественно, поднимала и выводила Ремера над кругом и за круг обычных служащих компании. В сложной, разработанной майором Пуховым системе

охраны Дровосека Ремер был самостоятельной, торчащей как ей вздумается спицей. При этом Ремер никоим образом не демонстрировал свою власть, не давил на остальных доверительными отношениями с шефом. Это свидетельствовало, что он человек умный. Умным людям, как известно, нравится быть в тени. Ремер относился к Пухову с подчеркнутой уважительностью. Майор отвечал ему тем же, хотя, будь он на месте Дровосека, он бы нашел себе другого связного для швейцарских банков. Почему? Майор сам не знал.

Все посетители обычно проходили отработанную процедуру контроля у дежурных охранников, записывались в специальный журнал. Но были визитеры – Дровосек это сразу оговорил, – которые ни через какой контроль не проходили и ни в какой журнал не записывались. Они подъезжали ко внутреннему – у кухни – входу в пансионат, поднимались к Дровосеку по черной лестнице. О времени прибытия этих посетителей Пухова уведомлял Ремер, и майор в случае особой конфиденциальности свидания убирал охрану из приемной.

На памяти Пухова к Дровосеку наведывались и вице-премьеры, и министры, и высокие прокурорские чины, а однажды так даже сам премьер-министр угрюмо выбрался у кухни из конспиративного подержанного «доджа». В некоторых газетах писали, что премьер-министр, вступивший через подставных лиц во владение недрами страны, – самый богатый человек планеты. Он медленно поднимался по черной лестнице. Пухова, смотревшего на его лысую голову сверху, поразили нечеловеческие – звериные какие-то – отчаяние и ярость (неужели в предчувствии поимки?) в невыразительных глазах премьер-министра. Вряд ли этот человек по своей натуре был вором. Он был определен на должность самого богатого премьер-министра в мире в стране, трем четвертям населения которой было определено жить за чертой бедности. Его превосходящее меру человеческого понимания богатство приумножалось, пока он – слишком нелепый и неуклюжий для миллиардера и слишком циничный и наглый для парработника, – являлся как бы символом новой эпохи в истории России. Он был вынужден владеть тем и обогащаться от того, чем владеть и от чего обогащаться, быть может, даже и не хотел – владеть недрами страны, обогащаться от недр страны. Косноязычный, приземистый, плотный, рассекающий воздух животом, как ледокол торосы, он был вознесен над Россией, как воплощение золотого тельца, и пока не случилось заклятие, вертикаль исполнительной власти сверху донизу копировала его матрицу – «чиновника, назначенного быть богатым». Но премьер-министр не разумом, а инстинктом как будто уже провидел, что внизу – под приносящими ему миллиарды долларов недрами – ад, и как бы уже заглядывал в него сквозь подземные рудные рельефы, слепые нефтяные горизонты и пучившие земную

кору естественные газовые резервуары. Потому и был так мрачен в мгновения, когда ему казалось, что его никто не видит.

Увидев в приемной Ремера, Пухов понял, что у Дровосека конфиденциальная встреча, но ему не понравилось, что Ремер ничего ему о ней не сообщил. Майор находился в своем номере. Ремеру ничего не стоило связаться с ним по рации или по сотовому. И еще Пухову не понравилось, что у совершенно непьющего Ремера дрожали руки, а лоб был в испарине.

Майор слышал за свою жизнь немало определений: что есть человек? Ему запомнились слова генерала Толстого, произнесенные под шлепанье березового веника по распаренному телу с полка странной баньки в размурованном коридоре на Лубянке. «Ты спрашиваешь, что есть человек, сынок? – осведомился генерал, хотя Пухов и не думал спрашивать. – Человек, сынок, – Пухов, впрочем, привык, что, разговаривая с самыми разными людьми, генерал имеет в виду не этих людей, а продолжает некий вечный – с кем? – разговор, к началу которого нынешний собеседник не поспел, – есть не что иное, как машина предательства. Общественный прогресс, майор, – это движение по спирали предательства. Сначала они предали своих каменных идолов. Потом – богов, олицетворяющих природу. Потом этого со шрамом на губе... как его... Иисуса Христа. Они его вообще восприняли только через предательство!.. Человечество, майор, – неожиданно легко, как юноша, соскочил с полка генерал Толстой, – вернее, так называемая цивилизованная его часть, и посейчас изнывает от коллективного бессознательного стремления предать Христа. Машина предательства, майор, – движущая сила истории».

Майор обратил внимание, что каждый раз генерал называет ему новую движущую силу истории и каждый раз Пухову трудно ему что-либо возразить.

Глядя на Ремера, переведшего дрожание рук в естественное для углубленного в свои мысли человека постукивание пальцами по столу, Пухов подумал, что человек помимо всего прочего еще и машина страха. Это было многоуровневое определение. Майор Пухов превосходно ориентировался на нижних уровнях: знал, как пугать людей и тем самым добиваться от них нужных сведений, поступков, действий. Доподлинно знал, какими физиологическими рефлексами сопровождается страх. Как пугаются и боятся мужчины и женщины (мужчины и женщины пугались и боялись по-разному), люди мужественные и трусливые, идейные и подлые. Лишь мгновение смотрел Пухов на личного секретаря Дровосека, Ремера, но этого было достаточно, чтобы понять: Ремер дико, до

поноса напуган. Майор успел вспомнить и про генеральскую «машину предательства», но эта машина в данных условиях сразу не просматривалась, если и наличествовала, то в глубокой тени «машины страха». «Машина предательства» была в известной степени машиной-невидимкой или, если угодно, машиной времени.

Ноги Пухова автоматически обрели пуховую легкость, «Fovea» сам прыгнул в руку и в настоящее время находился в непосредственной близости от бледного лица Ремера. Пухов никоим образом не угрожал помощнику Дровосека. Майору следовало получить от него быстрые и четкие ответы. Люди же не имеют обыкновения мешкать с ответами и говорить неправду в присутствии оружия, тем более такого внушительного, усовершенствованного – словно из космического боевика, – как «Fovea». Близкое дыхание оружия подтягивает, дисциплинирует людей.

– Сколько? – кивнул на дверь, спросил майор, на всякий случай мазнув Ремера дулом по губам.

Ремер оторвал от стола барабанящую руку, поднял вверх два пальца.

– Кто? – одними губами спросил майор, и по беззвучно шевелящимся, белым, как бумага, губам Ремера, как по бумаге же, прочитал: «Хуциевы».

Майор опустил пистолет. Кого он совершенно не ожидал здесь встретить, так это знаменитых братьев-гулийцев, чье имя наводило ужас на бизнесменов Юга России и Москвы. Братья давным-давно находились в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении российское МВД обещало вознаграждение, кажется, в сто тысяч новых рублей. Больше российское МВД давало только за руководителя службы безопасности Нурмухамеда и самого генерала Сака.

Старший брат возглавлял загадочное учреждение под названием «Национальный банк Республики Гулистан». Младший до недавнего времени считался заместителем Нура.

Обычно майор не испытывал радости, убивая людей, но сейчас больше всего на свете ему не хотелось, чтобы дверь открылась и из кабинета вышли улыбающиеся братья Хуциевы, а провожающий их Дровосек небрежно махнул ему рукой, мол, все в порядке, майор, это мои гости. Майор вдруг вспомнил, что,

думая о матери, изрешеченной пулями на пороге своего дома на улице Карла Либкнехта, он почему-то не забывал не только про генерала Сака в разъезжающейся на голове пилотке, не только про начальника его службы безопасности Нура – человека с благородной внешностью и открытым честным лицом, давнего знакомого Пухова, но и (краешком сознания) про братьев Хуциевых.

Когда майор Пухов, выполняя задание Родины (тех, кто приказывал от ее имени), усаживал генерала Сака в президентском дворце – тогда еще здании Верховного Совета Гулийской АССР, – ему довелось увидеть братьев Хуциевых в деле.

Младший на глазах пришедшей на переговоры депутатской делегации выстрелом в лицо – так что на папах депутатов полетели брызги крови и мозги – застрелил захваченного в кабинете зампреда ВС республики, отвечающего, кажется, за сельское хозяйство.

Старший Хуциев, когда вопрос власти в Гулистане был решен, потребовал «для стабилизации народного хозяйства» огромную сумму в тогдашних инфляционных российских рублях. Она была как только возможно быстро доставлена ему тогдашним вторым в России человеком после президента – гибким и тонколицым государственным советником, болезненно уверенным в том, что его внезапная власть над огромной страной не случайна, равно как и в том, что чем меньше окружающие будут понимать проводимую им политику, тем прочнее будет его власть. Это ощущение не покидало его и в президентском дворце на встрече с членами нового гулийского правительства. «Сколько привезли?» – спросил у государственного советника генерал Сак. Тот ответил. Некоторое время все молчали. Потом со своего места поднялся старший Хуциев, медленно обошел вокруг стола, приблизился к государственному советнику и... плюнул ему прямо в лицо. «Мало! – сказал он. – Убирайся к своему президенту и скажи ему: если не пришлет еще, мы взорвем вашу е... Москву к е... матери!»

Майор махнул рукой Ремеру, чтобы тот вышел из приемной. Тот молча вышел. За дверью было тихо. Но в следующий момент до майора донесся гортанный крик: «Ханш!» – что означало по-гулийски одновременно «импотент и рогоносец, е... собственную мать» и являлось последним по тяжести оскорблением для мужчины. Потом обострившимся слухом майор уловил звук пощечины, после чего с радостным и светлым сердцем вошел в режим импровизации, то самое, высшее – и самое желанное – из всех доступных майору творческих состояний,

когда от того, насколько он удачно сработает (сыграет), зависит сама его жизнь.

Он влетел в офис на низком кувырке сквозь выбитую дверь. Старший брат не глядя открыл огонь, но пули прошли выше, и в следующее мгновение, получив разрывную пулю из «Fovea» в промежность – Пухов не хотел казнить ее так жестоко, но с пола некуда больше было стрелять, – председатель Национального банка Республики Гулистан упал вместе с креслом на ковер. Младший брат вознамерился прихватить с собой в путешествие, из которого, если верить Сальвадору Дали, «письма идут слишком долго», Дровосека, но его пистолет – добротная «беретта» – был на предохранителе, из чего явствовало, что лично он не собирался убивать Дровосека. Но это уже не имело значения.

Выстрелом из «Fovea» майор выбил «беретту» из руки младшего Хуциева, превратив эту самую руку в короткий букет ярко-алых гвоздик, а затем выстрелом в лицо – майор сам не знал, почему так получилось, – навсегда успокоил любителя стрелять в другие лица.

– О господи, – простонал, поднимаясь из-за стола глава финансово-промышленной группы «Дровосек». – Я труп.

– Еще нет, – возразил Пухов, прекрасно понимая, что имеет в виду глава крупнейшей в России финансово-промышленной группы, – но мог им стать.

Глава Е

Считалось, что мать Илларионова умерла во время родов в больнице, которая называлась тогда Первой Краснознаменной и располагалась в Сокольниках. Илларионов, впрочем, в этом сомневался. Он долго ждал случая проверить и наконец, став полковником и начальником отдела, проверил больничные мартиролог в год своего рождения. Это было удивительно, но в тот год в Первой Краснознаменной больнице от родов вообще не скончалась ни одна женщина.

Илларионов не знал, кто его мать.

Илларионову-младшему было трудно представить себе Илларионова-старшего в кругу семьи – любящим мужем и отцом. Сколько Илларионов-младший себя помнил, отец всегда был один, всегда на работе. Илларионов-старший был генералом госбезопасности, хотя форму надевал исключительно по большим советским праздникам и когда отправлялся в Кремль на особые приемы и закрытые церемонии награждения отличившихся героев невидимого фронта. Он был равнодушен к наградам. Единожды убрав их в свой домашний сейф, никогда больше не доставал. Только раз, помнится, пряча в прохладную сейфовую глубину очередную коробочку с орденом, задумчиво произнес: «Странно, почему именно на Арбате – бывшей правительственной трассе?» – «Что на Арбате?» – не понял Илларионов-младший. «Ничего, – ответил отец, но, подумав, добавил: – Точно такие же ордена спекулянты будут продавать на Арбате за американские доллары». – «Когда?» – уточнил Илларионов-младший. Шел тысяча девятьсот шестьдесят третий год, и то, что говорил отец, казалось несусветной чушью. Но Илларионов-младший знал, что так будет. Отец никогда не ошибался.

Сейчас ему было трудно восстановить в памяти, когда именно он понял, что его отец – особенный человек, сильно, если не сказать разительно, отличающийся от остальных людей. Вероятно, в отрочестве, потому что в детстве Илларионов-младший не думал об этом. Он как бы изначально знал: они с отцом живут в мире вместе с остальными людьми, но и отдельно от людей, иногда заходя на ту сторону мира, куда остальным людям вход строжайшим образом заказан.

Отец, естественно, не имел возможности вести домашнее хозяйство. Этим занимались приходящие домработницы. На Лубянке в отделе кадров был специальный сектор, занимающийся наймом домработниц в семьи ответственных сотрудников, имеющих отношение к государственным тайнам. По малости лет Илларионов-младший не придавал этому значения, но, повзрослев, обратил внимание: все домработницы были сплошь – и не таясь! – верующими, все поддерживали в их доме какую-то совершенно невозможную чистоту, все были суровы и не улыбки, с некоей залегшей меж складок лба мыслью (или предчувствием), которую им никак не удавалось (или нельзя было) внятно сформулировать.

Более других преуспела в выражении тайной мысли (или предчувствия) Пелагея, пришедшая к ним, кажется, в шестьдесят первом году. Она немедленно – с мылом! – хотя не было в этом нужды, чисто было в комнатах – вымыла немаленькую их квартиру, после чего повесила в комнате командира октябрьской звездочки Илларионова-младшего прокопченную икону довольно-

таки редкого сюжета. На иконе был изображен запускающий в озеро с лодки невод Иисус Христос. Илларионов-младший обратил внимание, что у лодки был парус, но не было весел.

И до Пелагеи у них была суровая домработница. Илларионов-младший частенько ловил на себе ее не то чтобы неласковый, но какой-то скорбно-изучающий (как у запускающего невод безвесельного Иисуса) взгляд. Прежняя домработница, встретив его в школьном вестибюле после уроков, вела домой кружным путем – мимо церкви. Она обязательно крестилась на открытую дверь, а когда дверь была закрыта – на облупившиеся, когда-то золотые купола с крестами.

Пелагея тоже, помнится, повела Илларионова-младшего кружным путем. У церкви вдруг стиснула его руку своими отвердевшими от работы, как клещи, пальцами: «Пойдем со мной в храм!» У Илларионова-младшего не было ни малейшего желания идти с ней в храм, но темные (как краски на прокопченной иконе) глаза Пелагеи горели такой победительной волей, что он подчинился. А когда, отстояв конец службы, они пришли домой, Пелагея положила ему на стол толстую черную книгу – Библию. «Лучше вот это читай, чем... – кивнула на бестселлер той поры, зачитанный до дыр детектив под названием «Тарантул». – Хотя, – опять с каким-то скорбным сомнением смерила она взглядом Илларионова-младшего, – у тебя будет время изучить Библию».

Она, как обычно, приготовила ужин, оделась в прихожей, велела Илларионову-младшему закрыть за ней дверь. Он закрыл, но почему-то не пошел к себе, а замер у двери, услышав шаги поднимающегося по лестнице отца. Но вот шаги смолкли.

– Все служишь, сердешный? – раздался насмешливый и почему-то сильно помолодевший голос Пелагеи.

Илларионова-младшего удивило, что она, домработница, обращается к отцу, генералу, на «ты».

– Куда ж я денусь? – насмешливо, в тон ей ответил отец.

– Слышала я, – донеслось сквозь дверь до Илларионова-младшего, – велел ты повязать больных в Сибири.

– Для их же блага, – сказал отец, – они ведь не столько про глухонемого Предтечу благовестили, сколько про денежную реформу. В Енисейске народ годовой запас соли да муки размел. С утра очереди в магазины занимают.

– Был, значит, глухонемой Предтеча? – спросила Пелагея.

– Я не уследил, – помолчав, ответил отец. – Мимо меня не должен был прискочить. Считай, не было. Но даже если был, что с того? Глухонемой, он же своим молчанием сразу на два фронта благовестит, поди догадайся, кого ждать – Христа или Антихриста?

– Я с мальчишечкой твоим сегодня в церковь ходила, – вдруг призналась Пелагея.

– Вот как? – Известие, похоже, оставило отца совершенно равнодушным.

– Хороший такой мальчишечка, – продолжила Пелагея. – Но не по нашему департаменту. Хотя тебя, генерал, переживет.

– Знаю. Но я вернусь, подскажу ему.

У Илларионова-младшего за дверью аж сердце зашлось от несправедливости. Не по нашему департаменту! Как она смеет? И отец не возражает, не спорит с мерзкой бабой! На глаза навернулись слезы.

– Я одного не пойму, – раздумчиво продолжила между тем Пелагея, – отчего ты не скомандуешь своим орлам, чтобы выкрали в Америке те книжечки. А если красть грех, так хоть бы посмотрели одним глазком, там же все написано. Узнал бы имя, глядишь, и мальчишечку бы своего сберег.

– Нет в той церкви книжечки, Пелагея, – ответил отец. – Проверяли. Уже взята в недоступное место. Там ведь люди тоже не спят. Имя узнаем в девяносто восьмом. Вы узнаете. Меня тогда не будет.

– Не хочешь, стало быть, при нем жить? – спросила Пелагея.

– Не хочу, – ответил отец.

- И мир не хочешь спасти? - вздохнула она.

- А зачем? - спросил отец.

Илларионов-младший едва успел отскочить от двери, убежать к себе, когда отец вставил ключ в замок. Илларионов-младший упал на диван, схватил «Тарантула», но книга вдруг показалась неинтересной. Отец, впрочем, даже не заглянул в его комнату.

За ужином Илларионов-младший не выдержал.

- Я закрывал за ней дверь и слышал, - сказал он. - Я не подслушивал.

- Я знаю, - спокойно ответил отец, - тебя очень обидели слова: «Не по нашему департаменту». Напрасно. Не по нашему департаменту - это значит маленький. Не подрос еще.

- Ты давно знаешь эту Пелагею?

- Как тебе сказать, - задумался отец. - Я работаю в организации, которая занимается вопросами безопасности государства. Это довольно странная и сложная работа. Я вынужден общаться с самыми разными людьми. Да, мне приходилось раньше встречаться с Пелагеей.

- Откуда ты знаешь про денежную реформу?

- Ну, - засмеялся отец, - я много чего знаю. Никому не говори про реформу. Все останется как было, просто десять рублей превратятся в рубль, сто - в десять, ну и так далее.

- А глухонемой Предтеча - это кто? - спросил, успокаиваясь, Илларионов-младший. - И почему ты не доживешь до тысяча девятьсот девяносто восьмого года?

Тогда-то отец и рассказал ему, что иной раз по долгу службы ему приходится заниматься такими вещами, как проверка всевозможных диких слухов, поимка

не вполне нормальных людей, вбивших себе в голову черт знает что. Так, скажем, в Сибири какие-то то ли цыгане, то ли курды возвестили о пришествии глухонемого Предтечи, будто бы отказывающегося (в силу своей глухонемоты) объявить, чей он Предтеча – Христа или Антихриста?

– Разве это преступление? – поинтересовался Илларионов-младший. – И почему он не может объяснить знаками?

– Не преступление, – согласился отец. – Он не может объяснить знаками, потому что в начале любого Божьего дела всегда слово.

– Неужели это... угрожает безопасности СССР? – изумился Илларионов-младший.

– Безопасность государства, – улыбнулся отец, – такая сложная и хрупкая штука, что приходится выяснять, что стоит за каждым подобным слухом. Безопасности государства, – добавил отец другим, скучным, утомленным голосом, – могут угрожать самые неожиданные вещи. У тебя будет время в этом убедиться.

– Значит, эта Пелагея... не сумасшедшая? – повеселел Илларионов-младший.

– Нет, но насчет Библии она права, – как-то странно закончил разговор отец.

Илларионов-младший успокоился, но слова: «Не по нашему департаменту» засели в памяти, как заноза. Он знал, что он не по такому, как большинство, департаменту. Но также знал, что Пелагея употребила обидевшие его слова, сравнивая его с отцом. Получалось, что Илларионов-младший, как дерьмо в проруби (откуда, кстати, оно там взялось? Трудно вообразить себе человека, рискнувшего в памяти и сознании сделать это дело именно над прорубью), болтался между двумя департаментами. В каком-то третьем департаменте. Это мучило и беспокоило Илларионова-младшего, потому что походило на правду.

Много позже он подумал, что Пелагея непостижимым (как, впрочем, и положено по их с отцом департаменту) образом угадала насчет Библии, но не совсем (как опять-таки в их департаменте заведено) угадала. Да, Илларионов превращал Библию в компьютерный гиперроман, но не сам канонический текст – этой рутинной занимались программисты, работающие по стандартным программам, а непроясненные, темные (параллельные) места, так сказать, коллективное бессознательное библейского авторского коллектива, библейский

(добиблейский) background.

Он как раз тогда глухой и душной летней московской ночью в своей квартире на Сивцевом Вражке заканчивал кипящими чернилами статью для «New York Times», в которой, закрепляя свое ноу-хау на теорию гиперромана (гиперромановедение), доказывал, что гиперроман как жанр – универсален и бесконечен, как мысль Господа Бога (ГБ), потому что равно простирается как в прошлое, так и в настоящее и будущее. «Будущее в гиперромане, – раскрепощенно и не сильно заботясь (все равно будут переводить на английский) о стиле, писал в статье Илларионов, – незаконно, а потому может быть чем угодно: хламидомонадой, пирамидоном, холодной игрой равнодушного ума, набором классических футурологических конструкций “Lego-go”; ядовитой россыпью парадоксальных построений из области чистого (и нечистого) разума, аналогом которых вполне можно считать звездное небо с его строжайшим порядком-хаосом, пребывающее, по мнению Иммануила Канта, вне таких понятий, как добро и зло. Прошлое в гиперромане – невыпитое археологическое, запаянное в утопленные амфоры вино, перец и пряности подсознания, блистательный пасьянс непрожитых (но живо воображаемых) жизней, которые, собственно, и составляют духовный внутренний мир любой поднявшейся над обыденностью личности».

По мысли Илларионова, Библия как гиперроман являлась всего лишь первым проросшим зерном на частично уже удобренном всечеловеческом компьютерном поле. Из зерна должно было сформироваться некое (почти как у Лысенко «ветвистая пшеница») совершенно новое растение, сочетающее в себе признаки огромного дерева с корнями и кроной и – необъятного колосающегося поля. Сюда в общечеловеческий – то есть один-единственный для всех живущих на Земле людей – гиперроман должны были влиться все когда-либо – не важно, в прошлом, настоящем или будущем – сочиненные людьми тексты. Процесс впадения малых ручейков, ручьев, речушек, речек и рек в океан продолжался бы до тех пор, пока оставались на земле люди, желающие читать и сочинять тексты, и компьютерная сеть Интернет – альфа и омега, материализованное воплощение человеческой души со всеми ее достоинствами и недостатками.

Только после смерти отца, определив прошлое как вечно живой background, как равнозначную с будущим (для души, не для ума) составную (neverending) часть гиперромана (жизни), Илларионов-младший понял, что имела в виду чистоплотная с горящими глазами домработница Пелагея, характеризуя его как личность не по тому департаменту. Его background был «вещью в себе», то есть

касаясь одного лишь Илларионова-младшего и исполняемой им (порученной ему) работы. Грубо говоря, реальность стопроцентно давила над Илларионовым-младшим. Он (как девяносто девять и девять десятых процентов людей) являлся рабом реальности, так сказать, подреальным человеком. Тогда как background отца, вернее, случайные его отблески, уловленные Илларионовым-младшим, имел едва ли не большие основания считаться реальностью, нежели сама реальность. Это была реальность в некоем другом, многомерном, исчислении. В лучшие годы отец ощущал себя в ней настолько свободно и уверенно, что не знал имени-отчества действующего Генерального секретаря ЦК КПСС, порядкового номера последнего партийного съезда, понятия не имел, какая на дворе пятилетка.

Отец был надреальным человеком.

Потом, конечно, все изменилось.

Илларионов-младший вспомнил, как году, кажется, в шестьдесят шестом отец взял его с собой на новоселье к сотруднице своего отдела. Та получила квартиру в крупноблочном доме в Зюзино. Сейчас это место (Севастопольский проспект) считалось в Москве почти что центром.

Илларионов-младший уже бывал в подобных блочных домах – с объединенными санузлами и крохотными кухнями – у одноклассников, отец же, похоже, попал в такой дом впервые. Сотрудница – у нее слегка косили глаза, и, несмотря на очевидную молодость, среди черных как смоль волос имелась пружинная седая, как будто серебряная прядь – накрывала на стол. Гости, подчиненные отца, курили на балконе.

Отец медленно, как если бы находился в музее, где на стенах висели полотна живописцев, обошел квартиру, рассматривая голые, оклеенные обоями стены, иногда зачем-то прикладывая к ним ухо.

– Полагаю, что с началом массового строительства подобных домов человечество вступило в новый этап своего развития. Не самый удачный, скажем так, этап, как вы думаете, Изольда Ивановна? – поймал взглядом расставляющую на столе запотевшие бутылки, саму запотевшую, так что бедной приходилось поддувать под серебристую пружинную прядь, хозяйку.

Илларионов-младший находился в славном подростковом возрасте. Он, конечно, размышлял о женщинах, но в основном в чисто теоретическом плане. А тут у него аж дух захватило – до того была эта Изольда Ивановна хороша. Даже не столько хороша, сколько влекуща. Илларионов-младший вдруг понял, что готов ради Изольды Ивановны на все. Был готов украсть ключи от отцовского домашнего сейфа, отдать их Изольде Ивановне, когда она тайком придет, а потом... Странные какие-то (только что ведь он ни о чем подобном не думал) пронеслись в голове мыслишки. И еще Илларионов-младший понял, что чем недостойнее поступок попросит его совершить эта милая Изольда Ивановна, тем с большей отвагой и изобретательностью он его совершит, тем желаннее и милее она потом ему будет.

– Вам видней, товарищ генерал, – как горячей нефтью, мазнула косящими черными глазами по лицу Илларионова-младшего убегающая на кухню Изольда Ивановна.

– Я уйду на пенсию, – продолжил отец, дождавшись возвращения хозяйки из кухни уже с салфетками, – а вы еще помучаетесь с проникающими излучениями, поработаете с людьми, которых будут сводить с ума разные посторонние звуки и якобы насланные соседями болезни. Стены в нормальных домах должны быть толщиной в метр, не меньше, а, Изольда Ивановна? – прихватил ее изогнувшуюся над столом за талию. – Вам ли не знать про буллу номер четыреста шестьдесят семь папы Климента, определяющую толщину стены, гарантирующую от проникновения нечистой силы. Зачем вы согласились на эту квартиру? Подождали бы немного – получили бы в старом фонде.

– Старый дурак чуть было не разорил все тогдашние строительные тресты, – весело ответила Изольда Ивановна. – Намаялась я в коммуналке, товарищ генерал. Ну а что стеночки тонкие, так ведь... арматуры-то понапихали сколько, товарищ генерал, куда там с моими-то, пардон, габаритами... Да и кому нынче интересны людишки? Измельчал, отсырел, опошлил материал, товарищ генерал, ей-богу, не в коня корм, не по Сеньке шапка, не по кораблю плавание...

– Да, я знаю-знаю, – кивнул отец. – Смещение в нематериальное. Как только в землю закопали первый кабель, как только на стене появилась первая электрическая розетка...

– Забыли про автомобили и самолеты, товарищ генерал, – перебила Изольда Ивановна, – известно ли вам, сколько бесов может поместиться на острие иглы в

карбюраторе?

– Восстание среды, Изольда Ивановна, – покачал головой отец, – направление, конечно, перспективное, но, боюсь, тупиковое.

– Пусть и среды, если души ватные, товарищ генерал! – Расхохоталась Изольда Ивановна. – Что прикажете делать, если души не восстают?

Тут раздался звонок в дверь, пришел последний гость, вернее, гостья с букетом белых гвоздик. Изольда Ивановна пригласила всех к столу. Отец и Илларионов-младший посидели совсем немного и уехали.

– Начальник не должен портить веселье подчиненным, – объяснил Илларионову-младшему в лифте отец.

Илларионов-младший напрочь забыл про новоселье косящей с серебряной пружинной прядью Изольды Ивановны.

Вспомнил в девяносто четвертом, когда получил допуск к документации по семизвездно (то есть на высшем международном уровне – так же как инопланетяне, кадмиевые женщины, гравитационное оружие, технология получения золота из морской воды) засекреченному феномену под кодовым названием «Восстание среды».

В середине семидесятых какой-то чудака (посвятивший жизнь изобретению вечного двигателя и попутному усовершенствованию всех прочих двигателей) в Буэнос-Айресе, убежденный, что электрический счетчик в его квартире считает киловатты неправильно, а потому занятый разработкой нового, обратил внимание на необъяснимые скачки напряжения в сети по всему дому. Это было тем более странно, что приборы работали исправно, однако же напряжение определенно куда-то уходило. Он применил свой прибор в других – в основном новой постройки – домах. Там имело место то же самое. Малый служил в отделе технического обеспечения аргентинской службы безопасности, а потому, усмотрев в происходящем происки агентов бразильской разведки, написал начальству рапорт, в котором назвал этих самых бразильских агентов «ворами энергии и врагами веры».

Информация пролежала несколько лет без движения, пока на нее случайно не наткнулся прикомандированный офицер ЦРУ. Он, вернее она, занимался (занималась) архивированием базы данных аргентинской контрразведки для компьютерных сетей нового поколения. Рапорт показался ей забавным, она использовала его как вводную для компьютерного аналитического моделирования. Думающий компьютер нового поколения затребовал всю мыслимую и немыслимую статистику по названным домам. Офицер ЦРУ уже паковала чемоданы, когда ей доставили резюме думающего компьютера: скачки напряжения напрямую зависели от количества в этих домах... новорожденных младенцев! То есть кем-то (или чем-то) создавалось неизвестное современной науке поле, определенным образом воздействующее на новорожденных младенцев. Все попытки исследовать природу неизвестного науке поля оказались безуспешными. Как и попытки обесточить помещения. Поле таинственным образом подпитывалось из воздуха. Таким образом, не оставалось ни малейших сомнений в том, что «восстание среды» являлось либо случайно зафиксированным фрагментом некой (из области генной инженерии) программы пришельцев по преобразованию «homo sapiens» как биологического вида, либо же вторжением неких сил из параллельных миров, где, как известно, действуют отличные от мира «homo sapiens» физические законы.

В школе знали, что Илларионов-младший – сын генерала госбезопасности, и посматривали на него косо. Илларионов-младший долго не мог добиться от отца конкретного ответа: в каком, собственно, подразделении этой службы (давний разговор про глухонемого Предтечу его не удовлетворил) тот работает, не связан ли он со столь презираемым нормальными людьми политическим сыском?

Отец обычно вместо ответа подолгу молчал. Это молчание не нравилось Илларионову-младшему, но и заставить отца говорить он, естественно, не мог.

Тогда он решил зайти с другого конца.

– Ты... хоть раз разговаривал с Берией? – однажды вечером, когда отец никуда не спешил и, сидя на диване, массировал колена (он страдал от отложения солей в левом колене), спросил Илларионов-младший.

– Много раз, – удивленно посмотрел на него отец. – Он же был моим начальником.

– Ты помнишь свой последний с ним разговор? – Илларионову-младшему была известна отцовская слабость к четко сформулированным вопросам и исчерпывающим (не по сути, а по форме) ответам.

– Прекрасно помню, – ответил отец. – Мы встретились в парке «Сокольники» тридцатого мая одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Он был без очков и в свитере. Его очень трудно было узнать. Он приехал на метро.

– О чем вы говорили? – Илларионов-младший понял, что надо ковать железо, пока горячо.

– Я его предупредил, – отец задумчиво, поверх головы Илларионова-младшего, посмотрел на тяжелую, из красного дерева и горного хрусталя, люстру, – но он не стал слушать. Он думал, что сумеет переиграть судьбу. Зря он поверил своему предсказателю. До определенного порога человек контролирует себя во власти. Но когда речь заходит об абсолютной власти, ум и чувство самосохранения вырубаются, как при коротком замыкании. Тайна власти заключается в том, что власть никогда не достается тому, кто ее очень хочет. То есть хочет так, что окружающие люди видят, что он хочет, и, соответственно, просчитывают его поступки. Ему следовало остановиться, сохранить то, что было.

– А если бы Берия тебя послушал? – Илларионов-младший более не сомневался, что у его отца руки по локоть в крови.

– Был вариант немедленно уехать в Аргентину. Сначала уехать, а потом получить пост посла. И там пропасть во время восхождения на водопад. Он бы растворился в воздухе, как водяная пыль над водопадом.

– Но остался бы жив? – содрогнулся от отвращения Илларионов-младший.

– Вне всяких сомнений, – спокойно подтвердил отец, – поэтому он меня и не послушал. Я говорил с ним о сохранении жизни, когда ему грезилась власть над миром.

– Для чего ты хотел оставить его в живых? – в отчаянии спросил Илларионов-младший.

– Как тебе объяснить, – зачем-то погрозил люстре пальцем отец, – скажем так, для более естественного, плавного и где-то даже более справедливого и предсказуемого течения истории. Люди, которые пришли бы к власти, знали, что он жив, и были бы более осмотрительны в своих действиях и разоблачениях. Знающие люди, – внимательно посмотрел на Илларионова-младшего отец, – ценнее золота. Но, к сожалению, в мире всегда достаточно золота, чтобы не скупясь заплатить за их смерть. Я не занимаюсь политическим сыском. Хотя, если тебя интересует мое мнение, дозированный, умеренный политический сыск дисциплинирует общество и где-то даже понуждает его к гражданской добродетели. Впрочем, – опять посмотрел на люстру, как будто та не была вполне удовлетворена его ответом, – Россия еще проживет без политического и почти без уголовного сыска. Ты застанешь это время.

– Вообще без всякого сыска? – сладко замерло сердце у Илларионова-младшего.

– Не совсем, – усмехнулся отец, – разовьется такая странная его разновидность, как сыск банковский и экономический. Это будет очень жестокий и кровавый сыск.

– А... со Сталиным? – вдруг спросил Илларионов-младший, хотя собирался спросить отца о другом. Если он не занимается политическим сыском, значит, он ловит шпионов? – Ты разговаривал со Сталиным? Ты... его тоже предупреждал?

– Он получал достаточно полную информацию... по другим, скажем так, каналам, – ответил отец. – Я разговаривал со Сталиным. И я не ловлю шпионов, сын. Этим занимаются другие люди.

– Если верно то, что ты говорил о тайне власти, – возмутился очевидному противоречию Илларионов-младший, – получается, что Сталин не стремился к власти?

– Я читал текст речи, с которой он собирался обратиться к народу третьего марта одна тысяча пятьдесят третьего года. – Отец опустил в кресло напротив шкафа, внутри которого жили своей жизнью фарфоровые статуэтки. – Сталин объявлял о своем уходе со всех постов, созыве внеочередного съезда партии, роспуске Политбюро, радикальных перемен в правительстве. Не думаю, что он не стремился к власти, – продолжил массировать левое колено отец. Обычно он разговаривал с Илларионовым-младшим коротко и только по делу. Но когда

занимался своим коленом, то был готов говорить на любые темы. Отцу, как некогда Юлию Цезарю, делать только лишь одно дело (массировать колено) представлялось недостойным. – Он, видишь ли, стремился к несколько иной власти. Власть над людьми была для него только ступенькой. Под конец жизни эта ступенька его уже не устраивала. Так что моя теория о тайне власти верна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/kozlov_yuriy/kolodec-prorokov

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)